

Галина Сафонова-Пирус

Узор
моей
трезны

лирико-
эпическое
повествование

Галина Сафонова-Пирус

Узоры моей жизни

«Издательские решения»

Сафонова-Пирус Г.

Узоры моей жизни / Г. Сафонова-Пирус — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-608432-2

Как распутать разноцветные «нити клубка», из которых соткался «ковёр» моей жизни? Ведь «нити» оборваны, спутаны и поэтому при написании повести обратилась за помощью к когда-то сделанным запискам, зарисовкам, наброскам, переписке с интересными людьми, а «холстом» послужил временной период с 2010 по 2020 год.

ISBN 978-5-00-608432-2

© Сафонова-Пирус Г.
© Издательские решения

Содержание

Часть 1	7
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Узоры моей жизни

Галина Сафонова-Пирус

© Галина Сафонова-Пирус, 2023

ISBN 978-5-0060-8432-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



Как распутать разноцветные «нити клубка», из которых соткалась моя жизнь? Найти бы ту, единственную, которая потянула за собой остальные! Но «нити» оборваны, спутаны и поэтому буду ждать подсказок от воспоминаний, ассоциаций, чтобы из предлагаемого ими калейдоскопа выбрать то или иное событие, образ и, найдя новые оттенки, вплести проявленное в узор своего «ковра» жизни. И не будет в нём чётких рельефных орнаментов, а станет он больше похож на полотна абстракционистов.

*Всё, всё конечно в этой жизни брэнной, —
явления и жизни промелькнут чредою сменной
лишь сохранив во мне тот самый свет,
который соткёт клубки фантасмагорий.*

*И стану их распутывать старательно,
и буду вглядываться в них внимательно...*

А «холстом» для моего узора послужит временной период с 2010 по 2020 год, и вплету в него когда-то сделанные записки, наброски, зарисовки, воспоминания, переписку с интересными людьми, миниатюры о природе и даже сны, ну а воспоминания... Память своевольна, капризна, она спонтанно и вдруг подсовывает то, что, казалось бы, навсегда затерялось во времени, и делает это тогда... Нет, не знаю тот день и час, когда подбросит то или иное воспоминание и лишь буду доверяться ей.

*Но только б не грустить!
Ведь если я пред сменой жизнью так бессильна,
то предстоящему оставлю вклад посильный, —
детей, деревья, да и всё, что сделаю на этом свете.
И то – моё участие в извечной эстафете.*

Часть 1

Солнечно, тепло, – весенний день?.. Я стою и смотрю на только что вымытые широкие половицы крылечка, на свои голубые туфельки и рукав синего пальто в красных, желтых, зеленых точках-капельках. Сколько лет мне было? Не знаю. Но жили мы тогда в воинской части под Лепелем, куда папу перевели в очередной раз. А если так, то ниточка тянется к воспоминаниям мамы, которая рассказывала о тех белорусских местах:

«Там же вокруг всё болота да леса дремучие были, и деревья такие стояли, что только вдвоем и можно было обхватить. А сколько ж змей и гадюк в них водилось! Повесила я раз гамак во дворе, выхожу утром, глядь... Что ж это мой гамак такой серый? А на нем – ужи. Обвили его весь и висеть¹. Господи, умерла я прямо!.. А раз за бойцом гадюка погналася, да такая здоровенная! Ну, как удав всёодно. Так что ж, как догнать его станить, а он прыг за дерево! А этот змей ка-ак налятит на это дерево да как ударится об него! Пока опомнится, солдат убежать. Так и ушел».

В Белоруссии жили мы недолго и, вернувшись за два года до начала войны² на родину, в Карачев³, где и пережили оккупацию. (до августа 1943 года) Тщусь что-то выхватить из памяти, оживить, «отряхнув пыль забвения» о тех днях, но была еще совсем маленькой и удержалось немного.

Я сижу на коленях у брата Николая (заехал к нам перед отправкой на фронт) и громко плачу, а он держит перед моими глазами бутылку, вроде как собирая слезы и говорит:

– Посмотри сколько наплакала! Может, хватит?

И я, удивлённая тем, что бутылка почти полная, успокаиваюсь.

...От шалаша, построенного над вырытой ямой (немцы выгнали нас из хаты) я бегу к нашему дому, возле которого стоит немец с коробкой в руках, из которой... я знаю, знаю!.. сейчас достанет горстку лакомства, – маленькие квадратные печеники.

...Стою на табуретке у окна и вижу, как в туманной изморози растворяются, удаляясь, два человека. Наверное, в тот момент слишком плотная аура горя соткалась в семье, если в моей детской головке сохранилась эта «картинка»: те удаляющиеся были немецким солдатом и сестрой мамы тетей Диной, которую арестовали за участия в подполье.

...Передо мной бесконечно высокая стена из спрессованного песка, я запрокидываю голову, чтобы взглядом дотянуться до ее края, увидеть небо, но только – песок, песок... Он же – и под ногами. И было это уже в 43-м, когда немцы опять выгнали нас из хаты, и мы ушли в противотанковый ров, чтобы прятаться там от угона в Германию.

...Из того самого рва в день освобождения Карачева возвращаемся к нашей сгоревшей хате по предосеннему скошенному полю ржи, по нему едут машины, суетятся солдаты и вдруг!.. Все лежат, прижавшись к земле, а я стою и смотрю на вздыбившийся и уже медленно оседающий столб земли. А когда пришли к нашему сожженному дому... Да, вижу и теперь то обгоревшее дерево с черными грушами и даже ощущаю их горьковатый вкус.

...Еду готовили на костре, ели из жестяных банок, оставшихся после солдат и вот... Я плачу, из пальца течет кровь, а брат стоит напротив и что-то делает с консервной банкой, из которой я только что ела и о край которой порезала руку.

¹ Буду часто вставлять рассказанное мамой о своей жизни, сохраняя местный выговор слов.

² Великая Отечественная Война. 1941—1945.

³ Карачев – районный город Брянской области.

...А это память сохранила довольно ярко, и я как бы смотрю на себя со стороны: на подоконнике сидит бледная, лысая, темноглазая девочка, до самого подбородка закутанная в серое одеяльце, смотрит в окно. И вдруг по дороге катится мячик, большой синий мячик!.. и – никого... и мячик одиноко лежит в пыли. Девочка хочет позвать маму, сказать о мячике, но не может, – после тифа онемела. Но мячик лежит, лежит!.. его никто не берёт! И вдруг:

– Ма-ма... Мячик...

И подбегает мать:

– Дочка заговорила! Ну, слава богу! Думала, что немой останется.

Когда, с каких лет на моём «белом листе» юной человеческой души начали проявляться «письмена», начертанные генной памятью и желание удержать ускользающие мгновения? Может с четырнадцати лет, когда открыла тетрадку и написала в ней первые несколько строк?

Из записок. 1954.

«Почти весь день падает и падают лохматые снежинки. Очень красиво. Но я сижу на печке, слушаю по радио музыку и пишу эти строчки. Как же хорошо за шторочками!»

Как же отраднo было, прибежав с улицы и сунув промокшие варежки в печурку, залезть на печку по лесенке, сколоченной папой из толстых досок, задернуть шторы и читать книжки или слушать репродуктор, похожий на чёрную вьетнамскую шляпу. И был он для меня учителем более интересным, чем школьные, ведь предлагал сколько постановок, классической музыки, стихов и поэм! И до сих пор помню строки:

...И от той гармошки старой,
Что осталась сиротой,
Как-то вдруг теплее стало
На дороге фронтовой...
И забыто – не забыто,
Да не время вспоминать,
Где и кто лежит убитый
И кому еще лежать.
И кому траву живому
На земле топтать потом,
До жены прийти, до дому, —
Где жена и где тот дом?

А читал тогда эту поэму Твардовского⁴ диктор Юрий Левитан⁵, и читал так, что и до сих пор почти слышу его голос:

И с опушки отдаленной
Из-за тысячи колес
Из конца в конец колонны:
«По машинам!» – донеслось.
И опять увалы, взгорки,

⁴ Александр Твардовский (1910—1971) – Писатель, поэт и прозаик, журналист, специальный корреспондент, главный редактор журнала «Новый мир».

⁵ Юрий Левитан (1914—1963) – Диктор Всесоюзного радио Государственного комитета СМ СССР по телевидению и радиовещанию, народный артист СССР.

Снег да ёлки с двух сторон...
Едет дальше Вася Теркин, —
Это был, конечно, он.

Мой папа и старший брат Николай (в 41-м было ему 16 лет) прошли всю войну, и брат вначале попал на передовую, потом стал прифронтовым шофером, а папа, работая до войны в пожарной части, — после бомбёжек тушил пожары, — был ранен, контужен и, хотя с войны возвратился, но уже в 1946-м уехал в московский госпиталь, где вскоре умер от ползучей парализации.

Помню об отце очень мало, но вот такое иногда всплывает отчётливо: он сидит на нашей русской печке, свесив босые ноги, я щекочу его за пятки, он поднимает ноги выше, выше, я смеюсь, смеётся и он.

Но осталась фотография папы: он — в военной гимнастерке со стоячим воротником, застегнутым на две пуговицы, подшитым белой сменной стойкой, у него продолговатое лицо, гладкие, густые тёмные волосы, открывающие высокий лоб, прямой нос, большие губы с уже обозначившимся треугольником складок в уголках, чуть лохматые брови, а мешки под глазами оттеняют застывшее в них напряжение и опустошенность тоски, — был уже болен.



Сафонов Семён Афанасьевич. 1903—1947.

«Обнаружить и проследить на протяжении жизни развитие тематических узоров и есть задача мемуариста». Владимир Набоков⁶

⁶ Владимир Набоков (1899—1977) – русский и американский писатель, поэт, переводчик, литературовед.

Но как найти и чётко прорисовать те самые «узоры»? Помоги, память!

Речка Снежка... Тогда еще бойкая, с прозрачной водой, с песчаными бережками и на дне, с извивающимися косами водорослей, и я – с корзинкой в руках. Опускаю ее навстречу течению, завожу под косу, болтаю ногой, вспугивая рыбёшек, а потом рывком поднимаю. Быстро-быстро с шумом исчезает вода, а там, на дне трепыхается, бьется о прутья рыбка, плотвичка серебристая. О, радость! О, запахи воды, тины, сырой корзины!.. И хотя потом отпущу эту маленькую серебристую рыбку, но ведь видела ее, видела!.. она была в моих руках!

...Наконец-то земля оттаяла и чуть подсохла, а, значит, можно идти на огороды, что зачернели там, у речки, и рыть, рыть... Копнёшь лопатой раз, другой... восьмой, девятый и – о радость! Из черного влажного отвала земли вдруг улыбнется промерзший светло-коричневый клубень. Осторожно, чтобы не прорвать кожуру, возьмёшь его, – почему-то он легко отделялся от земли, – бережно положишь в котелок и снова лопатой – и раз, и другой, десятый... Нет, в том была истинная радость для меня, восьмилетней девочки, в еще сырой земле, находить весело подмигивающие под солнцем клубни и складывать в котелок. Потом мама снимала с них тоненькую кожуру, перекручивала через мясорубку, добавляла лука, муки, – если та была, – и выпекала гопики. Но поскольку подсолнечное масло в те годы было редкостью, то смазывала сковородку жёстким и поэтому неубывающим куском сала, который гулял от одной соседки к другой. И такой гопик однажды я выменяла у подруги на булку, – той не захотела её есть потому, что оказалась непропеченной, да и гопика ещё не пробовала, – а она с осторожностью откусила от него, пожевала и выплюнула. Я удивилась. А от её булки, отщипывая по маленькому кусочку и обсасывая зубы, вязнувшие в непропеченном, чуть горьковатом тесте, до самого вечера наслаждалась забытым за годы войны вкусом, недоумевая: и как она могла отдать мне такое лакомство? Конечно, оладьи из мёрзлой картошки таковыми не были, но пока соседи не вскопали свои огороды возле речки, мы были сыты весенними гопиками, – только не ленись!

Дом детства нельзя позабыть,
ведь в нём моё «я» зарождалось, —
душа словно в люльке качалась.
Дом детства нельзя позабыть
и верной душе не остыть,
в каких бы мирах не скиталась.



Наш дом в г. Карачеве, построенный после окончания войны. (1946).

Наша память капризна, она сохраняет лишь то, что сочтёт нужным, поэтому многое подсказывают мои дневники.

Из записок. 1951

«Улей стоит у нас в доме и сегодня брат осмотрел пчёл. Оказалось, что половина их вымерла. Как жалко! Все лето они собирали мед, гибли в дождь, пропадали в полетах, а мы этот мед у них отняли и вот они погибли от голода. Мама собирается поставить погибшим пчелкам свечку, а мне перед оставшимися даже стыдно, ведь к нам относится цитата Радищева⁷: «Они работают, а вы их труд ядите».

С четырнадцати лет я начала вести дневниковые записки, и это означало, что жизнь начала подсказывать мне размышления над тем, что происходило рядом. И дальнейшее преобразование моей души зависело от тех «семян», которые были и будут заронены теми, кто был рядом, – мамой и братом Виктором. А старший брат Николай, который вернувшись с войны поступил в институт, потом по распределению уехал с женой в Совгавань, а вернувшись, стал жить у ее родителей в Ленинграде.

В то время Виктор работал преподавателем физкультуры в деревне под Карачевом и, приезжая домой, привозил мне гостинец, – несколько пряников... нет, тогда они назывались жамками и почему-то всегда были чёрствыми, но когда я залезла на печку и грызла их, то казались они мне таким лакомством!

Не могу вспомнить, сохранилась ли обида на брата хоть за что-то? А, впрочем...

Я лежу на печке и с увлечением читаю роман «Кавалер золотой звезды». (Удивительно, но так отчётливо запомнилось, что именно роман этого прославленного тогда писателя Семена Бабаевского.) Так вот, читаю, но входит Виктор, спрашивает: что за книга? Показываю. А он хватает её и бросает под стол. Я – в слёзы! Но он даже и утешать не стал, а только сказал: «Никогда не забивай голову бараклом». И других обид не помню, а вот такое... Я пошла встречать корову из стада, но та пришла сама, а меня мама нашла в двенадцатом часу ночи висящей на заборе Городского сада, – шел концерт заезжих артистов, – и гнала домой толстой верёвкой, – вбежала я в дом, забилась меж кроватью и стенкой, ожидая: вот-вот достанет! Но вступился брат, прикрыв собой:

– Да ладно, прости её. Она больше не будет.



⁷ Радищев Александр Николаевич (1749—1802) – писатель и мыслитель конца XVIII века, открытый противник самодержавия.

Я и мама. Фото сделано в послевоенные годы (1947 год).

Почему записала тогда, в четырнадцать лет, песню, которую пропела мама, что подтолкнуло? Может, потому, что именно тогда созрело в душе сознание навсегда ускользающих мгновений, которые хотелось сохранить?

Уж ты реченька,
Речка быстрая, вода чистая,
Что ж ты, речушка, стоишь,
Не всколыхнешься,
С пододна песком не возмутишься?
«Да как же мне речушке всколыхнуетеся,
Как мне, быстрой возмутитесь?
Я уж, речушка, тростником заросла,
Да я уж, быстрая, тынюю заплыла».
Как на горочке стоит горенка.
В этой горенке сидит свет-Наташенька.
Но сидит она невесела,
Буйну голову повесила.
Приходят к ней подруженьки-соседушки:
«Что же ты, Наташенька, невесела,
Буйну голову повесила»?
«Сестрицы-подруженьки,
Как же мне быть веселою?
Ведь вскормить, вспоить, меня было кому,
А проводить, благословить некому.
У меня гостей полна горница,
Одного только нет – гостя милого,
Гостя милого – батюшки родимого.
Ой, вы, ой, поднимитесь, ветры буйные,
Ветры буйные, ветры сильные.
Да вы разнесите пески желтые,
Пески желтые во все стороны.
Да откройте вы дубовый гроб,
Поднимите из него гостя милого,
Гостя милого, батюшку родимого.
Обниму я его, припаду к нему
И спрошу у него благословения».
«Да ты не плач, не рыдай, свет Наташенька!
Благословит тебя родная матушка,
А встретит тебя сокол Серёженька.

Ассоциации... Вы вспыхиваете неожиданно и какими-то неведомыми путями вбрасываете в то, что, казалось бы, скрылось навсегда.

Иду по аллее парка, люблюсь резными деревянными скульптурами, нежностью весенней зелени, вдыхаю влажный, напитанный свежестью воздух, смотрю на весёлую игольчатую зелень травы, пробившейся сквозь сухие прошлогодние листья, и от всего этого в душе трепещет

радость торжествующей жизни, молодости! Но вдруг: «Как же грустно, что тогда наша Зорька не дожила до такой травки!»

А была она в послевоенные годы нашей кормилицей и спасительницей. Тогда на семью по карточкам выдавали буханку хлеба в день, картошины без соли и масла были почти лакомством. А корову зимой мы кормили соломой, – на сено не было денег, – и остатками от вывезенных колхозниками стогов сена, за которым мама ходила в поле, раскапывая из-под снега, где её однажды чуть не подстрелил охотник, в сумерках приняв за волка.

Ходили мы с мамой за шестнадцать километров от Карачева в деревню Юрасово⁸ и к заводу, на котором из свёклы делали спирт, отходы выливали и назывались они бардой. В мороз она не замерзала, поэтому раз в неделю, раненько утром, устанавливали мы на санки бак и отправлялись за нею, а когда возвращались, то мама тянула за веревку, а я, десятилетняя девчонка, толкала санки сзади, барда иногда выплескивалась мне под ноги и мои бурки⁹ на морозе покрывались ледяной коркой.

И всё же наша Зорька не дотянула до весны. В марте, когда стало пригревать солнышко, мама вывела её на огород погреться, а она легла и не встала. Когда пришел ветеринар, то сказал, что лечить её нечем, и на другой день, придя из школы, я не увидела нашей Зорьки.

Молодым душам присуща романтика. Была она и во мне, тем более, что социалистическая пропаганда твердила: «Всё – для блага человека, всё – во имя человека», а значит, и свою жизнь я была должна прожить для «блага» и «во имя». И пусть в этой моей дневниковой записи в шестнадцать лет – полная романтики риторика, но ведь верила в то, о чём писала.

Ветер холодный, резкий
В лицо мне бросает снегом,
Срывает одежду дерзкий,
Морозит душу и тело.
И всё ж не пойду дорогой,
Которой другие крадутся.
Для них этот ветер – попутный,
Назад им уже не вернуться.
Пусть бури воют, тоскуя,
Пусть яростней год от года,
Но дань свою донесу я —
Искру тепла для народа.

...На распутье дорог стоит слепой юноша. Восходящее солнце золотит его русые волосы, несколько прядей спадают на высокий лоб, и чудная игра чувств – на лице! Ведь сейчас он с радостной надеждой вслушивается в незнакомый женский голос: «Возьми посох и иди по одной из лежащих перед тобой дорог. Иди, не сворачивая, не дрогнув сердцем даже тогда, когда твой путь будет усеян терниями, когда сладкий голос будет звать в уютное обиталище. Знай! Если ты поселишься в нём, то дни твои будут спокойны, но навеки ты останешься слепым. А если у тебя хватит мужества до конца пройти избранный путь, то ты прозреешь и, увидев мир с высоты Человека, насадишь прекрасный сад, к цветам которого придут такие же незрячие, как и ты, чтобы, вдохнув их аромат, запастись силами для пути к своему прозрению. Так иди же, иди! Я благословляю тебя на этом пути».

⁸ Юрасово – село Брянской области, в 5 км. от Карачева, на левом берегу Снежети.

⁹ Бурки – что-то вроде валенок, шились из сукна и ваты.

Полянка перед домом с муражкой
зелёным, мягким.
И босоногие подружки с
с игрой весёлой то в лапту, то в прятки
до самых сумерек поздних.
Уже и мать зовёт...
Но так не хочется в кровать!
Еще бы поиграть! Но звёзды ярче, ярче...
...В саду играет духовой оркестр,
и вальс зовёт туда, на танцплощадку.
Потом поманит танго радиолы,
закружит «Риорита» с ним, желанным!
...Ах, эти давние, волшебные мгновенья
мелькнувшей юности,
– зовущих светлых снов!
Куда умчались и в какие дали?



Моя мама, Сафонова Мария Тихоновна. 1903—1994

Свою книгу «Родники моих смыслов» я начала такими словами:

«Держу перед собой документы о своих предках, выданные областным Архивом, и читаю: „Крестьяне слободы¹⁰ Рясника: Христофор Иванов Потапов, его жена Марфа Казмина, его сын Никита, жена Мария Казмина, дочь Пелагея...“ Читаю их имена и кажется, что с укоризной смотрят они на меня из тёмного небытия. И зарит совесть, что так мало знаю о них. Но хочу, хочу избавиться от этого стыда-незнания. Так пусть же любопытство моё и терпение помогут докопаться до значения незнакомых речений и, хотя бы размыто, – словно

¹⁰ Слобода (Слобожа) – вид поселения или района города в истории России, Беларуси и Украины.

в тумане, – увидеть их, моих далёких предков, узнать, как жили, о чём тревожились, чему радовались, как одевались. А обернуться в неземное пособят мне рассказы мамы, Интернет и эти архивные документы с выписками из реестров канувших в Лету годов».

Мои предки по отцовской линии, – прадед Илья и дед Тихон Сафоновы (или Листафоровы, как мама называла родню Сафоновых, ибо у прапрадеда было имя Христофор), – крепостными не были и происходили из экономических¹¹ крестьян слободки Рясники, что в двух километрах от районного города Карачева. Как говорила мама, «трудились они не покладая рук», поэтому и жили крепко: две хаты у них было, в одной сами жили, корм скоту готовили, воду обогревали, а в другой гостей встречали, праздники праздновали. Да и подворье было большое: штук десять овец, гуси, свиньи, три лошади, так что работы мужикам хватало зимой и летом, осенью и весной. Как только сойдёт снег, земля чуть прогреется, начиналась пахота, и пахали тогда сохой, сажали под соху (только в начале 20-го века появились плуги на колёсах) и мама рассказывала: «Соху-то в руках надо было держать, вот и потаскай ее целый день! Посеять мужик, не перевернулся – сорняки полезли, да и картошку пора окучивать, а ее по два раза сохой проходили и во-о какие межи нарывали! Потому и вырастала с лапоть¹². Чего ж ей было ни расти? На навозце, земля, что пух, ступишь на вспаханное поле, так нога в земле прямо тонить! А сколько трудов было косами да серпами рожь скосить, убрать, цепами¹³ обмолотить! А если сырая была, то свозили её сушить на рыгу (местное слово). Перевезуть, расставят снопы и уже дед Илья целными днями её сушить, сжигают солому, суволоку¹⁴ и только потом молотили. Пока бабка встанит да завтрак сготовить, мужики копну и обмолят в четыре цепа. В хороший год пудов по десять с копны намолачивали. Ну, а если не управлялись, свозили её в сараи и складывали адонки¹⁵, а под них слой дядовника укладывали, мыши-то не полезут туда, где дядовник. Вот и стоять потом эти адонки, а когда управлялись с урожаем, начинали молотить. И какой же потом хлеб душистой из этой ржи получался! Пшеницы-то тогда у нас еще не сеяли, и пшаничную муку только на пироги к празднику покупали, а так всё лепешки ситные пекли. Высеют ржаную муку на сито и замесют тесто. Да попроще ставили, а потом его – на капустный лист и в печку. Бывало, все лето эти листья ломаешь, обрезаешь да сушишь, сушишь... Помню, дед Илья уже и старый был, а всё-ё ему и зимой покою не было, и особенно, когда овцы начинали котиться. Ведь он же тогда из сарая и ночами не выходил, – не прозевать бы ягнят! Окотится овца, сразу и несёт ягненка в хату. И вот так отдежурить несколько ночей, а потом как повалится на кровать прямо в валенках, в шубе и сразу захрапел. А разве поспишь днем-то? Тут же со скотиной управляться надо, или сын с извозу¹⁶ приехал, надо лошадей отпрячь, накормить, напоить».

¹¹ Экономические крестьяне – категория крестьян, образовавшаяся из бывших монастырских и церковных крестьян после реформ Екатериной II в 1764 году.

¹² ЛАпоть – крестьянская обувь, сплетённая из содранной с молодой липы коры.

¹³ Цеп – Ручное орудие для обмолота злаков в виде двух шарнирно связанных палок.

¹⁴ СУволока – сухая трава, но не пригодная для скота.

¹⁵ АдОнки – слой дядовника, укладываемый под снопы от мышей.

¹⁶ ИзвОз —Перевозке на лошадях грузов или седоков.



Таковыми могли быть мои предки.

Да, немного я узнала от мамы о своём прадеде Илье и его жене Марии. А работала она в гостинице Карачева (Рясники – в двух километрах от города) и эту двухэтажную гостиницу построили в конце 19 века, когда мимо Карачева прошла железная дорога¹⁷ и «в ход пенька пошла», которую перерабатывали на пенькотрепальной фабрике, делая из неё веревки, канаты, за которыми приезжали купцы даже из других стран. Мать прабабки Марии умерла рано, пятеро девочек остались с батей, так что, когда за какую-либо сватались, он сразу и отдавал её замуж. Просватали и Марию за Илью, когда была она еще совсем девчонкой. Был он простоватый и со слов мамы не любила она его всю жизнь. Детей от мужа Мария иметь не хотела, а когда надумала, то засобиралась идти в Киев, чтобы «ребеночка себе вымолить». Дали им таким, как она, по гробику, и должны они были всю обедню отстоять с ним на голове, а когда вернулась из Киева, то объявила, что у нее будет ребенок, которого назовут Тихоном. Знаю я про него, моего деда, совсем немного и со слов мамы был он красивый, грамотный, читал книги и всё никак не находил себе по нраву невесты, но когда увидел мою бабушку Дуню Болдареву, жившую на другой стороны Карачева в слободе Масловка, то сразу и влюбился. Поженились, жили в любви, пока не случилась беда, – началась на Ряснике эпидемия тифа (1909 год, маме было 6 лет), от которого он умер. И было ему всего двадцать восемь лет. Осталась бабушка Дуня вдовой с четырьмя детьми, ранее крепкое хозяйство понемногу разваливалось. Одну лошадь она продала еще на похороны мужа, через полгода – еще одну, а когда помер самый маленький сын, продала и последнюю. Какое-то время семья жила на бывшие запасы, а когда закончились, пошла бабушка Евдокия работать на пенькотрепальную фабрику.

¹⁷ Регулярное движение поездов на железной дороге на этом направлении открыли 8 августа 1887 года.

По её линии предки мои были воинами, охранявшими южные границы России, за что получили звание дворян-однодворцев¹⁸ но с годами от службы отошли, осели на земле и позже прадед мамы служил писарем в волости, поэтому его дети, внуки, правнуки были грамотными.

«Бывало, в праздничный день сходят к обедне, а потом – читать: дедушка – Библию, бабы – Акафист. Они-то к обедне не ходили, надо ж было готовить еду и скоту, и всем, поэтому так-то толкуются на кухне, сестра моя Дуняшка им Акафист читать, а они подпевают: „Аллилуйя, аллилуйя... Го-осподи помилуй...“ Так обедня на кухне и идёт».

Своего деда Алексея мама вспоминала с особенной теплотой, ведь он всегда помогал своей рано овдовевшей дочери управляться с землёй, приезжая со слободы Масловки.

«А было у дедушки пятеро детей, – две дочки и три сына: старший Иван, Николай и младший Илия. Бывало, как возьмутся рожь жать, так сколько ж за утро и скосят. Дядя Илюша особенно сильный был. Рассказывали, поехать с мужиками в извоз и, если вдруг покатаются сани под раскат, так подойдёт да как дернуть их за задок, так и выташшуть сразу».

Двор у Писаревых (фамилия их была Болдыревы, а Писаревыми стали позже потому, что прадед служил писарем) был просторный, – конюшни, закутки, подвалы, – а недалеко от дома стояла рига и амбары, в которых хранили муку, там же рушили крупу, отжимали масло, так что на кухне всегда стоял бочонок с конопляным. Было много и скотины: три лошади, две коровы, овцы, свиньи, жеребенок, телята и для того, чтобы накормить это «стадо», сеяли гречиху в два-три срока, а солому гречишную запасали на корм скоту. Держали Писаревы и пчел, так что лакомились мёдом. Дед Алексей был верующим, в его хату часто ходились слобожане и он читал им божественные книги про святых, про разные чудеса:

«– И опутается весь мир нитями, и сойдутся цари верный и неверный. И большой битве меж ними быть. И будут гореть тогда и небо, и земля.» Си-идять мужики на полу, на скамейках, слушают... Манькин, Зюганов, Лаврухин, Маргун, а бабы прядут, лампа-то у деда хо-орошая была, видная! Ну а мы, дети, бывало и расплачемся, что земля и небо гореть будут, а он утешать начнёт:

– Не плачьте, детки. Всё то не скоро будить, много годов пройдёт, и народ прежде измельчать.

– Дедушка, а как народ измельчать? – спросим.

– А вот что я вам скажу. К примеру, вот загнетка в печке, и тогда на ней четыре человека рожь молотить смогут. Уместятся! – И улыбнётся: – Да-а, вот таким народ станить. Но цепами молотить уже никто не будить, а все машинами, и ходить не стануть, всё только ездить. – А потом и прибавить: – Не плачьте, дети, после нас не будить нас. – Это он ча-асто любил повторять. – Бог, дети, как создал людей, так сразу и сказал: живите, мол, наполняйте землю и господствуйте над ней. И Бог вовси не требовать от нас такого поклонения, чтоб молились ему и аж лбы разбивали, ему не надо этого. Бог – это добро в душе каждого человека. Добро ты делаешь, значить, и веришь ему.

А бабушка Анисья придерживалась другого понятия о вере и бывало, как начнёт турчать:

– Во, около печки кручуся и в церкву сходить некогда.

А дед и скажить:

– Анисья, ну чего ты гудишь? Обязательно чтолича Бог только в церкви? Да Бог везде. Вон, иди в закутку коровью и помолись, Бог и там».

Ну, а потом в семье дедушки Алексея Алексеевича «всё под откос пошло». Его старший сын Николай, вернувшись со службы, где был писарем, скоропостижно умер, вести хозяйство стали средний Иван и младший Илья, который очень любил коней. Когда его забрали в солдаты,

¹⁸ Однодворцы – сословие, возникшее при расширении южных границ Русского государства и состоявшее из военизированных землевладельцев, живших на окраинах государства и несших охрану пограничья.

стал он там участвовать в гонках и однажды на скачках погиб. Остался Иван. «На войну¹⁹ его не взяли, – он на всю семью был единственным кормильцем, – так что все хозяйство на нем и держалось.

«А году в двадцать восьмом, когда коммунисты надумали его раскулачить²⁰ и сослать в Сибирь, то мужики воспротивились: да что ж вы, мол, делаете, последнего человека у деревни отымаете, который в земле что-то смыслить! Вот и не тронул его сельсовет. Но когда колхозники собрали первый урожай и повезли с красным флагом сдавать, то посадили дядю Ваню впереди и этот флаг ему в руки сунули... уважало его общество-то, а Катюха Черная подскочила к нему да как закричить:

– Кулак, и будет наш флаг везти?

И вырвала из рук. Пришел дядя Ваня домой расстроенный, ведь Катька эта такая сволочь была! Ну-у брехать что зря повсюду начнёт? Тогда же из колхоза могли выгнать и в Сибирь сослать. А у него уже сын подрос, тоже Ванюшкой звали, и умница был, грамотный, вот и говорить батю:

– Не бойся, папаш, я за Катькой поухаживаю.

И подкатился к ней. Так больше коммунисты не тронули дядю Ваню.

А похоронили дедушку Алексея, когда еще шла гражданская война²¹. Помню, разруха была, голод, холод и мамка одна на Масловку ходила его хоронить. А нам не довелось. Не в чем было пойти, ни обуви, ни одёжи не было, вот и сидели на печке да ревели. И бабушка Анисья тоже вскорости... она ж на еду пло-охая была, а тут как раз – ни булочки, ни сахарку. Всё-ё просила перед смертью:

– Чайку бы мне с булочкой, чайку...

Заплошала, заплошала, да померла. Вскорости за дедом отправилась».

Когда собирала сведения о своих предках, не покидал упрёк себе: ну почему не взялась за это раньше, когда еще были живы близкие родственники? Сколько б интересных страниц вписалось!.. Но в какой-то мере утешала себя: когда слагала своё повествование с именами предков, то словно вызывала их души, взглядывалась в их лица, глаза. И оживали! Оживали и улыбались с теплой благодарностью, что вспомнила о них. Верю: хотя бы иногда надо просто произносить имена ушедших, – Василий Петров Болдырев, его жена Аксинья, сын Егор, жена Егора Ульяна, их сыновья Алексей, Гаврила... Произносить и благодарить за то, что эстафетой, из рода в род, передавали шанс родиться и мне.

Познать минувшее стремимся мы
с надеждою найти ответы
на сложные вопросы жизни.
Но если б знать: что это знание даст?
Не лучше ли – туман и тёмные завесы
над тем, что скрылось навсегда?
И лишь порой, как в танце-полонезе,
обнять минувшее, ничто не осудя.

¹⁹ Первая мировая война. 1914—1918.

²⁰ Раскулачивание (раскрестьянивание) – (с 1928 года плакат: «Уничтожим кулака как класс») политическая репрессия, применявшаяся в административном порядке местными органами исполнительной власти.

²¹ Гражданская война в России (1917/1918 – 1922/1923) – ряд вооружённых конфликтов между различными политическими, этническими, социальными группами и государственными образованиями.

С послевоенных лет²² жили мы огородом, выращивая рассаду, лук, редиску, капусту, огурцы и мама всё это продавала. Когда я стала жить в Брянске, мама и брат всё так же продолжали заниматься землёй, а я почти каждую неделю ездила им помогать.

Из записок. 1975.

«Еду в Карачев. И как всегда, за утешением. Нет, рассказывать маме про «удары судьбы» мужа не буду, а просто Карачев всегда врачует. И уже шарю глазами по прилавкам базара, ищу Виктора, а не маму, – она уже почти не торгует. Да вот же он, с рассадой сидит, и по всему вижу: стесняется! Но улыбается:

– Не-е, здесь хорошо-о, как в театре. Девки, бабы молодые идут и все жопа-астые! – смеется. – А вон как раз напротив меня Лёха торгует, тоже университет окончил и прилавки теперь – наши кафедры. А дома мама уже нервничает, ждет сыночка, и уже через полчаса слышу: – Иди, узнай, что там... как там у него?

А часам к двум... Вроде бы его мотороллер застучал? Ага, приехал.

И уже сидит на ступеньках в коридор, рассказывает:

– Остались у меня последние огурцы здорове-енные, сложил их на прилавок в кучу, собираюсь домой, а тут подходят две бабы деревенские, смотрят, смотрят на них и одна спрашивает: «За сколько отдашь-то?» «Да берите даром» – отвечаю. Нет, не берут, но и глаз от огурцов не отрывают. Я опять: «Да берите даром!» Тогда та, что постарше и говорит: «Давай, кума, возьмём. Хоть огурчиков наядимси». – И смеётся: – А вчера старуха подошла... ну, точно с картины Рембрандта²³! И сама черная, и одежда черная, а лицо го-орестное! Попросила огурчика, а я говорю: «Да берите любой». Посмотрела, посмотрела на меня, отвернулась и пошла. – Подумала, наверное, что пошутил.

– Да я догнал её, дал несколько штук.

Конечно, стесняется брат продавать, но в тоже время базар для него в какой-то мере развлечение. Как-то рассказывал: идет баба вдоль рядов, за ней тащится пацан лет шести и, дёргая за подол, гугнявит: «Ма, ну купи лучкю-то, купи!» Та вначале вроде бы и не замечает его, но вдруг останавливается и рявкает: «Мо-олчи, змей, сластена!» Мама сидит на ступеньках и, опершись на лыжную палку, слушает сына, улыбается:

– Ох, и как же я страдаю, как страдаю, когда ты на базар едешь! – И губы ее подергиваются: – В следующий раз сама поеду. И не держи, и не упрасивай.

– Не-е, матушка, – смеется брат: – ты уже своё отъездила, больше не пушу тебя. Меня, наверное, бабы и так засудили: как, мол, не стыдно матку мучить!

А она смотрит на него с любовью и я слышу: – Ох, сколько ж горя он мне приносит!.. и сколько радости. Ухожу на огород, оставляя их вдвоем и думаю: «Да, жалела мама нас со старшим братом. Да, была заботлива и самоотверженна. Но и только. А вот Виктора... Только при нём вот так загораются ее глаза любовью и радостью».

...И до сих пор – в памяти: наконец-то земля подсохла, согрелась и Виктор вытаскивает из коридора своего Гошу, плуг собственной сборки, на котором собирается пахать огород и который собирал всю зиму. Где доставал детали? О всех не знаю, но большинство находил на городской свалке. Оттуда же как-то привёз и несколько металлических ёмкостей, которые из колонки по ночам, (чтобы днём не мешать соседям) мы наполняли водой, а днем поливали всё, что нужно. Согревающим воспоминанием живет до сих пор такое: тёплый весенний вечер, мы еще хлопочем над парниками, поливаем рассаду, укрываем её рамами, а в парке уже духовой оркестр играет вальс! Сейчас Виктор разожжет горелку, подсунет ее под бочку с водой,

²² После окончания Великой Отечественной войны в 1945 году.)

²³ Рембрандт ван Рейн (1606—1669) – великий голландский художник.

потом я окунусь в тёплую воду и, освежённая, надену красивое платье и побегу с подругами навстречу тому вальсу».

Снежинки опускаются на деревья и, сбившись в сугробики, безропотно принимают подсказанные ветками «темы», в которых видятся замысловатые фигурки, образы или просто плоды, прикрывающие изгибы стволов. И от этого долгожданного снегопада веет той самой свежестью, которая тянет из прошлого нить, когда вот так же кружил и падал снег.

«Скорей, скорей из печурки – варежки, так и не просохшие за ночь, и-и на улицу, в снег, в сугробы! И санок не надо, ведь совсем рядом – обрывистые горки, с которых можно съезжать, окутав колени полами пальтушки, а прыгнув на «карниз» нависшего над обрывом сугроба, срываться вместе с ним туда, к колодцу, а потом, посидев в снегу словно в кресле, барахтаться в прохладных «волнах», захлебываясь свежестью и радостью.

...Сугробы, сугробы – вдоль улиц, а у домов – расчищенные стёжки, которые снова упруго заметает позёмка. Я иду домой с «добычей» и жую довесок к буханке хлеба, «запивая» горсткой снега. Послевоенные годы... и я, девчонка, каждый день хожу в очередь за такой же буханкой, которую привозят на санях в синей будке, а к ней всегда дают вот такой довесок, – столь желанную горбушку.

...Наш огород, серебрищейся под выпавшим за ночь снегом... На лыжи! Ведь под горкой – уже покрытая льдом Снежка и скорее, скорей бы скользить по ней! Свитерок, варежки, – ведь морозец чуть-чуть... И бежалось по ровному настилу навстречу солнцу легко, озорно. И не хотелось возвращаться, поворачиваясь к ветерку спиной. Но вдруг светило утонуло в синем мареве, ветер стал сильней, заметелило и вместе с пробирающимся под свитер холодком, в лицо начал лепить снег, слепить глаза... Нет, тогда он не был бесплотным, эфирным, а пугал своей упругой настырностью.

*...Тихая, серая полночь,
Мягко снежинки летят.
Не говорим мы ни слова,
Но ведь сердца говорят!
Кажется мне, что прекрасней,
Не будет ночей никогда!
Всё потому, что впервые
Ты провозжаешь меня!*

Первое стихотворение, первая влюблённость... Если бы писала о своей первой любви только по воспоминаниям, а не по дневниковым записям, где встречи, радости, размолвки прописаны столь осязаемо, то не соткалось бы вот такое «полотно», похожее на живопись импрессионистов, – небрежны мазки брошенных слов-красок, но сколько света и радости!

После окончания школы (1954), в сентябре я уже работала в библиотеке воинской части. Из недавно приехавших молодых офицеров мне особенно никто не нравился. Правда, Эрик, – красивый, немногословный, всегда застегнутый на все пуговицы, – казался симпатичнее других, но в то же время и отталкивал этой своей закрытостью. Полным антиподом Эрику был Витька Рябушкин, – некрасивый, высокий, сутулый, всегда расстегнутый и даже с офицерской фуражкой набекрень, – тоже не вызывал симпатий и когда видел его, возникало желание что-то подтянуть, подкрутить в этом «разлаженном механизме», чтобы шагал он уверенней и не так нелепо висели на нём шинель или китель. Был еще и Олег, – тоже некрасивый, но более всех уверенный в себе и даже нагловатый, но не делавший попыток приударить за мной, а вот Вася

Яхимович... Темноволосый, краснощекий, веселый крепыш с первого же дня знакомства стал настигать меня и уже через месяц сделал предложение. Но в феврале прислали еще одного... Да, Юрка не был красив, – высок, сутуловат, над покатым, напряженным лбом негустые светлые волосы, «безвольный» подбородок под большими яркими губами, – но когда смотрел на меня, то из его голубых глаз, очерченных темными длинными ресницами, струился завораживающий свет и, конечно же, я начала делать о нём записки.

«Он не отходит от меня весь вечер, а если отойдет, то наблюдает издали. И меня это радует, но убегаю к себе в библиотеку и быстро одеваюсь, не понимая, зачем это делаю? На улицу!.. Но догоняет. И в этот вечер всё чудесно! И молодой месяц, и чуть слышное поскрипывание льда под ногами, и даже кот, который встретил нас возле дома.

...За стеной библиотеки играет радиола. Остаться на танцы? Ведь так хочется его увидеть! Не отрываю глаз от двери, – может, войдет?.. И пришел! И даже пригласил в зал. Но как идти? Еще не окончен рабочий день. Ушел. Наверное, будет танцевать с ней, со своей бывшей... Не могу писать, дрожат руки. Неужели люблю его и могу ревновать? Нет, это не так!..

Но уже – на танцах. Не «замечаю» его, болтаю с Алёной, а краем глаза вижу: через весь зал идет к нам! Подошёл, взял за руку. Какие у него глаза! Я тону в них, я побеждена.

...Уже четвертый день не вижу его! Неужели не приходит из-за того, что плохо расстались в последний раз? Он не хотел, чтобы я уходила, не подавал руки, а я повернулась и ушла. Догнал, взял за плечи: «Учти, у меня есть самолюбие, – опустил руки, добавил: – А теперь иди».

Люблю ли я тебя – не знаю.
И кто подскажет мне ответ?
Но без тебя всегда скучаю.
Люблю ли я тебя, иль нет?
Лишь только издали увижу,
Забьется сердце и замрет.
Но любит ли тебя, – не знаю.
И кто подскажет мне ответ?
Ах, почему ты не приходишь?
Ведь целый день всё жду и жду!
Меня ты любишь иль не любишь?
Одна я это не пойму.

...Наконец-то пришёл в библиотеку! Покраснела, растерялась, а он молча посидел и вышел. Но на танцах... Ни за что не подошла бы к нему, но подошел он. Как же была благодарна!

...Снова не приходишь. Ну, приди хотя бы на минутку! А, впрочем, на минутку не надо, мне этого будет слишком мало.

О, если б ты знал, как хочу я увидеть
Твои голубые, родные глаза!
И голос негромкий и милый услышать.
Я счастлива только бы этим была!
Меня обижал иногда ты, – случилось! —
Но был так внимателен, ласков со мной.
Так что же теперь, что с тобою случилось?
Зачем же обходишь меня стороной?

...Вчера был на танцах, но не подошел, а часов в одиннадцать оделся и ушел. За что издевается надо мной? Ведь так хочется посидеть рядом, поговорить!

Так долго, так долго с тобой не встречались!
Ужель огорчить тебя чем-то могла?
А, может быть, в том, что расстались
Есть и твоя небольшая вина?

...Любить – это страдать. Но когда любишь, мир становится иным, – всё озаряется удивительным светом, люди кажутся добрее и перестаешь замечать плохое, уродливое.

...Постоянно думать о нём, просыпаться с надеждой увидеть, а потом целый день прислушиваться к шагам, – не его ли? А когда вижу издали, появляется щемящая боль. Почему? Сколько мучающих и неразгаданных «почему»!

...Возле клуба играли в волейбол. Был и Юрка. Смеялась, старалась острить, но что делалось в моей душе!.. Уверена, любит меня! Вижу по взгляду его дорогих, любимых глаз.

Ветер весенний, развея мое горе!
В далекие степи печаль унеси.
И грусть утопи в темно-синее море,
Но радость и счастье взамен принеси.

Сон:

Сидим с Юркой в какой-то комнате за круглым небольшим столиком... нет, не понимаю: почему мы здесь? Но знаю: он здесь – из-за меня. И сидим долго, молча, но вот он наклонился, что-то пишет, я не вижу его глаз... а так хочу! И взглянул, смотрит... берет мои руки, подносит к губам, целует... И я счастлива!

...Хожу с забинтованной рукой, – лезвием нацарапала его имя. Глупо?

...Почему Юрка так мне дорог? Иногда даже страшно становится, – чувствую какую-то ответственность за него.

...Долго сидела и думала: что же написать на своей фотографии, которую просил подарить? И вот пишу... но в дневник: Юрка, дорогой! Любое слово кажется мне таким тусклым для передачи того, что чувствую! Знаешь, после каждого твоего поцелуя во мне вспыхивают какие-то новые чувства, отчего кажешься ты мне волшебником, обладающим магической силой. И сила эта, отпуская мое бедное сердечко только на секунду, вновь зажигает неведомым чувством. А глаза! Боже, какими бывают твои глаза в мгновения вспыхнувшей любви! Но именно в такие минуты болью сжимается сердце от невозможности продлить эти неземные мгновенья, об утрате которых – слезы.

...Почему любовь и встреча с прекрасным приносят не только радость, но и грусть? Может, потому, что ЭТО слишком хрупко, мимолетно, незащищено, и мы с первого мгновения, не сознавая этого, начинаем прощаться?

...Приехала моя подруга детства. Отмечали день рождения Юрки и нечаянно я увидела, как она обнимает его. Может, то была только её инициатива? Не пыталась узнать, но с тех пор...

...Юрка, вчера сказала тебе лишнее, прости! Прости и не верь тому, что становишься чужим. И все же в те минуты, когда любовь к тебе вспыхивает особенно сильно, вдруг вижу Ларискины руки на твоих плечах. Скажи, как мне забыть? Ведь это может нас разлучить.

...Многое, очень многое пережила я, передумала за это время и ты, наверное, заметил, что стала гораздо сдержаннее. А всему причина – ты. Ты первый, кому я поверила, кого любила, и ты первый, кто обманул меня. Свет погас. Вспыхнет ли снова? Не знаю.

...Медленно угасает мой костёр любви. Да нет, пробую, пробую подбрасывать в него «хворост», пробую и гасить, но... Наверное, с костром так можно, но не с любовью, – она должна сама...

...Пожить бы на необитаемом острове, послушать музыку, почитать! Но получила из Ленинграда вызов на сессию.

...«Юрка, я сдала первый экзамен. Скажи, ну почему здесь, в Ленинграде, так томно, скучно, неуютно? Серые камни, удушливый воздух и всё, все чужие! Вчера в театре оперетты смотрела „Поцелуй Чаниты“, люди смеялись, смеялась и я, но... Полуголые женщины, слащавые улыбки, плоские, тысячу раз слышанные остроты!..»

...«Ты хочешь, чтобы я стала твоей женой. Но разве не хочется тебе сохранить хотя бы еще на год те отношения, которыми живем? Разве будут вечера, чудесней тех, которые проводим на нашей скамейке? Так зачем же торопиться? Семейная жизнь впереди, а вот такая... может уйти. И навсегда».

...Юрка, Юрка! Опять мы в ссоре. Ну, зачем причиняем друг другу столько боли? И зачем часть своей перекладываю на тебя? Лучше бы – одна... Но прости, милый, наверное, делаю это потому, что бывает нестерпимо больно.

...Заходила в библиотеку предыдущая Юркина увлечённость и у меня кольнуло сердце: ну почему ты оставил ее ради меня? Она стала бы тебе прекрасной женой, без всяких туманных стремлений. Иди к ней! Я – не для тебя. Беспокойно будет тебе со мной, мучить буду, и потому, что никогда не стану счастливой. Ну, что может успокоить? Семья, дети? А если – и тогда?..

...«Юрка, милый! Ты – далеко. И если поступишь в Академию, то станешь еще дальше. Каждую минуту ощущаю, что тебя нет рядом, что ты не придешь ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю, месяц и потому хочется плакать. Сегодня случайно нашла твою папироску, и каким же драгоценным подарком она стала! Как отрадно было нюхать её и вспоминать тебя, тебя и только тебя! Боже, как все постыло и пусто без тебя!»

О, добрый день, мой милый друг!
Что, как твое здоровье?
И как проводишь ты досуг?
Как чувствует себя твой друг?
Прошло ль его томленье?
В письме последнем мне писал:
«Грызу науки мрамор рьяно!»
На это Виктор (брат) сказал:
«Один все зубы поломал,
Грызая его вот так упрямо».
Как я живу? Учю, кручусь,
Седлаю иногда Пегаса,
Но очень мой ленив Пегас
И скачет лишь по четверть часа»

«Спасибо, дорогой, за подарки ко дню рождения! Они чудесны и очень им рада. Но в то же время, и грустно. Почему? Не знаю, не знаю... Спрашиваешь, как встретила праздник? Ходили с Аллой в клуб, было все в шарах, конфетти, флажках и прочей мишуре. Около двенадцати ребята затащили нас в буфет, там и встретили Новый. Было почти весело, от вина кружилась голова.

А как твои экзамены? Трудно? Но знаю, что сдашь все хорошо, ведь ты у меня умница!»

«До свиданья, друг мой! В этот вечер

Чистые мигают огоньки.
Мой любимый, ради нашей встречи
Чувство вот такое же храни.
Ну, а если в жизнь уйдёшь с другою,
Совести своей не упрекай.
Каждый рад дышать опять Весною!
Без укора я скажу: «Прощай».

Прости, дорогой, но кажется, твоя любовь ко мне угасает. Непутёвая Галка».

...Да нет, не его любовь угасает, а моя. Но не хочу этому верить, – как же без неё? А чем удержать ускользающую, не знаю.

...За окном густые сумерки. Тоскливо завывает ветер. Читаю: «Личность противопоставляет себя миру, как нечто самодовлеющее и она не стремится больше к пересозданию мира, ее освобождение – в ней самой».

Вот и я не стремлюсь пересоздавать мир, а хочу быть свободной.

...Как отношусь к Юрке? Нет, не могу понять, – душа не горит, а теплится.

...Маюсь, что день проходит быстро и не успеваю найти успокоения.

Маюсь, что день тянется медленно, а с ним – и мои поиски чего-то.

Как хорошо, когда наконец-то засыпаю! Спать бы долго-долго!

...Вчера была в депрессии. Шла домой, увидела пьяного мужика и... ушла моя мучительница! Сегодня случилось то же, когда получила письмо от Юрки. Почему? Почему!

...Бродила в лугах, что видны из наших окон. Перебралась по мостику через Снежку, долго шла по полевой дороге, свернула к стогам, присела возле них, и всё задавала себе вопрос: люблю ли Юрку? И был теплый сентябрьский день. Сжатое поле ржи, разогретое солнцем, пахло соломой, серебристыми нитями поблескивала паутина, – тихая, отстоявшаяся благодать природы... Но как же смутно было на душе! Потом брела по берегу к плотине. Над ее темной, уже неприветливой водой, устало свисали лохматые тростники, пахло рыбой.

И снова сидела на берегу, смотрела на лениво текущую воду и странно! Душа наполнялась покоем, словно эта тёмная, уставшая за лето вода, принесла ответ на мучивший вопрос: значит, не люблю Юрку, если так мучительно думаю о нём.

...Какое ослепительно белое утро! Они, снежинки, падали и падали, словно стараясь скрыть следы неопрятного человеческого жития. Жаль, что скоро растают, – ведь только начало ноября.

...Почему человек так одинок?

...Мой сон. Я – в каком-то городе. Ночь. Улицы безлюдны, мне зябко, жутковато, но стою на трамвайной остановке и жду Юрку... он должен выйти во-он из того здания. Ну, вот и он... но выходит не из здания, а словно проявляется, как на фотографии... и почему-то в длинной-длинной шинели... приближается... делаю шаг навстречу, протягиваю к нему руки, а он проходит мимо... с опущенной головой. Но вот и трамвай... и Юрка становится на ступеньку, трамвай беззвучно трогается... Хочу окликнуть!.. но не могу. Хочу сделать шаг вослед... не делаю. А трамвай уже медленно удаляется, размывается, тает вместе с ним. Но во мне нет отчаяния, – вроде так и надо... так и надо».

(Через несколько лет.)

«Вначале Юрка прислал открытку, – для него я осталась прежней, – а потом приехал. Встретились. Стал чужим. На второе свидание не пошла, но подруга с ним встретилась и передала его слова: «Надеялся, что Галка уедет со мной». А во мне это его признание не пробудило никаких теплых чувств.

Но иногда, вдруг: иду по аллее парка, под ногами шуршат еще не истоптанные желтые бурые листья, а я смотрю на них и замираю от счастья, – счастья любви; мы сидим на лавочке

возле нашего дома, перед нами за речкой луга, покрытые туманом, – словно облаками! – над ними висит огромная луна, он целует меня и во мне вспыхивает какое-то неведомое чувство, – сладостное, томящее, но до отчаяния грустное».

Слезинка дождя на ажуре стекла
и алый окатыш герани...
Те встречи, разлуки...
Да были ль они, слезинка дождя на ажуре стекла?
Всё было. В душе не сгорело дотла.
А память – лишь таинство сини.
Слезинка дождя на ажуре стекла
и алый окатыш герани.

В 1961 году брат Виктор работающий телеоператором в Комитете и на время моей практики, которая была обязательной на последнем курсе института Культуры, где я училась заочно, устроил меня помощником режиссера. Главному режиссеру Михаилу Самсоновичу Дозорцеву я понравилась, и он предложил мне остаться.

Из записок. 1961.

«Ровно месяц, как я – помощник режиссера в Комитете по телевидению и радиовещанию. Работа интересная, но иногда часами нечего делать, и я хожу за главным режиссером с просьбой дать хоть какое-либо занятие, а он смотрит на меня, улыбаясь, и пожимает плечами. Есть ли интересные люди? Пожалуй, журналист Николай Недвецкий и телеоператор Женя Сорокин, – умные, много читающие и даже спорящие о философии, но пока в их спорах нет для меня того, что затронуло бы душу.

...Диктор Элла Миклосова красавица! Нос с горбинкой, пепельно-светлые волосы, смугловатое матовое лицо с большими синими глазами, но какая-то странная, – ... иногда смотрит вроде бы с участием, но вдруг громко, грубо расхохочется над тем, чему и улыбнуться-то грешно. Наверное, она – дура. А вот её подруга звукорежиссер Алла Смирновская, сухопарая, некрасивая, с тонкими напряженными губами, с которых всегда готово сорваться ехидное словцо, понятна мне без «наверное»: да, умна, расчетлива, хитра и не добрая она, – не хочется подходить к ней даже тогда, когда нужно по работе.

...Вчера Элла и Алла сидели в студии, разгадывали кроссворд, а я расставляла фотографии по пюпитрам, готовясь к эфиру. Но вот они стали гадать: кто композитор оперы «Орфей и Эвридика»? Ну, я и подсказала: «Глюк»²⁴. А они, взглянув в мою сторону, презрительно хихикнули, – из какого-то, мол, Карачева, а подсказывает! – а потом всё ж вписали. Да нет, не сказать, что страдаю от их снисходительных взглядов, но все же... Удастся ли преодолеть их высокомерие? И нужно ли это делать?

...Не увлекли меня наши комитетские философы! Особенно неприятным становится Недвецкий, который тарахтит, тарахтит, перескакивая с одного на другое... словно палкой – по штакетнику, а в результате – пустота. Кажется, что все боли мира ему – до лампочки, только б утвердить свою значимость, только бы все смотрели на него и поклонялись. А меж тем, хочет ехать в Москву преподавать в Университете. И чему научит своих студентов?

...Когда автобус, подъезжая к Брянску, переезжает Черный мост и сворачивает направо, то всегда почему-то мелькает: «Вот и кончилось всё». И «всё» это – солнце, ароматы земли, травы, деревьев, ветра... И прямо сейчас въеду я в другое, – в застойный, спёртый запах машин,

²⁴ Кристоф Глюк (1714—1787) – немецкий композитор, один из крупнейших представителей музыкального классицизма.

кирпичей, шум города, мелькание озабоченных лиц и от этого словно сжимаюсь, как пред прыжком в холодную воду».

И до сих пор, проезжая троллейбусом по центральному проспекту через дамбу, частенько отыскиваю глазами на краю оврага Нижний Судок тот самый домик с косо спускающимся огородом, в котором я снимала комнатку. Хозяева относились ко мне приветливо, но мне было настолько неуютно и тоскливо оставаться в ней, что почти каждый день уезжала автобусом домой в Карачев, а летом – на мотороллере с братом Виктором. И мчаться навстречу пахучему лесному ветерку было особенно восторженно. Да, мне, провинциалке, трудно было привыкать к шумному городу и от неюта чужих комнат спасалась в областной библиотеке с её тихими залами, с обилием книг, журналов, которых в Карачеве не было («Новый мир»²⁵, «Иностранная литература», ведь они открывали мне совсем другой мир. И было это при «Хрущёвской оттепели»²⁶, как потом назовут те годы относительной свободы.

«Купила, сборник стихов «Обещание» Евгения Евтушенко²⁷ и он стал для меня удивительным открытием:

«Пришло без спросу, с толку сбило,
Захолонуло, налегло.
Как не похоже все, что было!
И даже то, что быть могло...
Или: Тают отроческие тайны,
Как туманы на берегах.
Были тайнами Тони, Тани
Даже с цыпками на ногах.
Были тайнами звезды, звери,
В поле – робкие стайки опят.
И скрипели таинственно двери,
Только в детстве так двери скрипят...
...Но пришла неожиданно взрослость.
Износивши свой фрак до дыр,
В чье-то детство,
Как в дальнюю область,
Гастролировать убыл факир...
...Дайте тайну! Простую-простую!
Тайну – радость и тишину.
Дайте маленькую, босою,
Дайте тайну, хотя бы одну.»

Каждый день автобус отвозил нашу постановочную группу на телецентр (он был на окраине города), чтобы выдавать в эфир новости, а «офис» Комитета был на набережной Десны, притиснутый к высокому холму, на котором стояла колокольня полуразрушенного монастыря семнадцатого века. Но властям понадобилось спрямить дорогу, а значит,

²⁵ «Новый Мир» – ежемесячный толстый литературно-художественный журнал. (Издается с 1925 года).

²⁶ Хрущевская оттепель – неофициальное обозначение периода в истории СССР после смерти и. В. Сталина (середина 1950-х – середина 1960-х годов)

²⁷ Евгений Евтушенко (1932—2017) – русский советский поэт.

снести монастырь. Помню, как двое журналистов и я ходили к главному архитектору города, чтобы убедить: можно обвести дорогу вокруг холма, а в монастыре устроить музей. И архитектор внимательно слушал нас, кивал головой, но уже через несколько дней и монастырь, и колокольню взорвали, холм тут же сравнивали с землёй, а потом вдоль протянутой дороги разбили какие-то нелепые клумбы, подняв их над тротуаром почти на метр, обложив кирпичами, попытались засадить розами, но они не прижились и клумбы заросли травой.

«Мои мечты встретить в Комитете интересного человека быстро тают, словно снег под апрельским солнцем, и остаются лишь не тающие с четырнадцати лет вопросы: для чего жизнь, зачем живу?»

...У Федора Михайловича Достоевского²⁸ нашла: «Беспокойство и тоска – признак великого сердца». Но почему моему, маленькому не живется спокойно?

...У Евтушенко есть строки:

Но пришла неожиданно зрелость.
Износивши свой плащ до дыр,
В чьё-то детство, как в дальнюю область,
Гастролировать убыл факир...

Вот и мой «факир», обещавший мне здесь интересных и талантливых людей, покинул меня, оставив лишь одну тайну. И она – Стас».

Он пришёл в Комитет примерно через год. Чистое бледноватое лицо, большие темные глаза с пристальным взглядом, высокий лоб с тёмным чубом... Обычно, приходя на работу, он долго бродил из угла в угол, потом садился за стол, непременно ставил перед собой графин с водой, брал ручку, чтобы что-то писать, но на этом всё и заканчивалось. А еще жило в нём какое-то тихое сопротивление всему, что происходило вокруг, и это мне нравилось.

«Сегодня на собрании разбирали «неблаговидный поступок оператора и комсомольца Александра Федорова», – соблазнил какую-то девушку, но жениться не хочет, – и наш председатель Комитета Петр Ильич Луньков всё нападал на Сашку, а тот твердил: «Сама она... я по молодости... я по неопытности». Было смешно и жалко на него смотреть, а Петр Ильич, жестко сжав губы и скрестив руки на животе, всё наступал:

– Мало ли что не любишь! Ты – комсомолец и обязан жениться!

И когда в очередной раз стал «клеить» Сашку, то Стас Могилевский вдруг встал и молча направился к двери.

– Куда Вы? – остановил его Луньков.

– Александр сам должен решить, что ему делать, – сказал только что утверждённый журналист и вышел.

Молодец Стас! А Луньков... Он развел руками и на лице кроме удивления я увидела: ну, что ж, тебе это так не пройдет!»

...Бродили со Стасом по тихим, совсем сельским улочкам Лубянки, и он пригласил заглянуть в его сад, – «Ведь яблони цветут, сирень!» И я пошла. Но только взглянув на этот праздник цветов, заспешила домой. Чего испугалась? И Стас провожал меня, а я была счастлива только тем, что идет рядом. Когда с веткой сирени из его сада пришла домой, долго не могла уснуть».

²⁸ Фёдор Достоевский (1821—1881) – русский писатель, мыслитель, философ и публицист.

Стас был моей новой влюблённостью. Но я видела, знала, что он – вольная душа и не хочет, не может никому подчиняться, – не зря же носил усы, бороду, из-за чего в нашем городе на таких указывали пальцами. А еще Стас любил эпатировать и на каком-то торжественном заседании в Доме культуры, когда на сцене в президиуме сидели начальники и один из них делал доклад, Стас вдруг встал, вынул из кармана носовой платок, громко высморкался и вышел. Теперь на такое и внимания не обратили бы, а тогда у коммунистического президиума вытянулись лица.

«Вчера Стас провожал меня до автостанции. Когда в ожидании автобуса сидели в кафе, потом – в скверике, то вдруг услышала:

– Но где-то, где-то далеко есть дом, понуро припавший к земле, словно прислушивающийся к нашим шагам. Но где-то, где-то мы можем забыть хотя бы на миг и удивиться, что первый снег выпадает всегда беззвучно, что у тебя с мороза холодные руки, мама!

Взглянула на него, не скрывая радости:

– Да ты еще и поэт?

– Нет, лишь пытаюсь им стать, – усмехнулся: – Вот... позавидовал тебе, что скоро войдешь в родной дом и... Когда садилась в автобус, услышала тихое:

– Может, останешься?

Нет, не осталась. И потому, что отчаянно хотелось побыть одной там, в переполненном автобусе, но вместе с ним... таким! А приехав домой, радовалась – каждый раз заново! – моим родным, нашему старенькому дому, земле, солнцу, дождю, пропахшему соснами, травами, но душа рвалась назад, в большой город, потому, что в нём – Он».

Стас писал стихи и вскоре в Москве вышел его сборник. Конечно, меня покорило и это, но я чувствовала, знала, что нам не быть вместе, – не смогу ему покориться. Наверное, это же понимал и он, да к тому же решил перебраться в Москву и уже часто ездил туда в поисках работы.

«Случайно встретила в театре Стаса, – на несколько дней приехал к матери из Москвы. И было приятно сидеть с ним рядом... Приятно? Сладостно! И был понятным и родным. Но вида не подала.

– Пригласила б на чай, – улыбнулся.

Нет, не пригласила.

Проводил до троллейбуса. Вошла, села, взглянула в окно, – стоял, смотрел грустно. Но ведь не шагнул... за мной! «Что ж ты?..» – хотелось крикнуть. Но даже не махнула ему рукой. Волки воют от тоски... Изливают душу? Жаль, что не могу.

Ах, гули, гули, гули
На бронзовой щепе!
Зачем встречались губы?
Зачем щекой – к щеке?
И руки, словно стебли,
Сплетались и текли.
Задумчивые тени
К поляне приросли.
И ты у края неба
Качнулась, поплыла,
А под тобою немо
Качались тополя...

Из его сборника».

А приезжал тогда Стас, чтобы продать опустевший после смерти матери дом и уехать в Москву. Навсегда.

Примерно через два года к нам прислали журналистку, только что окончившую Университет и мне стало не так одиноко. Вскоре она начала ходить в школу преподавать французский язык и делала это для того, чтобы потом, когда отработает положенные два года, уехать в Москву, прописаться там, устроиться на работу и постараться выслужиться перед определенными «органами»²⁹, чтобы те разрешили ей ездить в другие страны преподавателем русского языка.

«Показывала Раисе город, потом сидели с ней в кафе. Конечно, она знает намного больше меня и разговаривать с ней интересно, но станем ли подружками?

...Сняли с ней комнату на шумной улице в деревянном домике у старых добрых евреев. Наше единственное оконце смотрит в сад, яблони которого никогда не пропускают солнца.

...Да, Раиса образованней меня, уверенней и... громче что ли? Смеётся раскатисто, запрокидывая голову с копной темных завитых волос, которые кажутся ещё темнее из-за бледноватого лица. Высока Раиса, статна и даже сухопара, – ей бы моделью быть! – но она не следит за собой, неопрятна, до самых жарких дней ходит в одной и той же зеленой кофте и, похоже, не собиралась её снимать. А еще любит по утрам есть лук, отчего запах в нашей комнате!.. Я отношусь к этому её пристрастию терпеливо, но каково коллегам по работе?

...Приходил к нам Лёва Федоров – лучший журналист на радио, хотя ему часто достается от начальства, – темы, мол, берёт не те, да и слишком их заостряет. Симпатичный, высокий блондин с быстрым, неожиданным взглядом глаз, который часто бросает на Раису, но она не отвечает ему, хотя, – знаю! – он ей нравится. Едва ли у них что-то получится, ведь Лёвка – обаятельный шалопай, еще не совсем закрепощенный идеологией, так что...

...Ездили с Раисой в Аниково, молодежный дом отдыха под Москвой, – это она от Обкома комсомола достала две путевки. На другой же день она укатила в Москву, а я подолгу бродила в роще, сидела на берегу речушки и смотрела на тихую воду. Вечерами в холле гремела дискотека, почти все танцевали, а симпатичный, белозубый негр с чуть приплюснутым носом и почти чёрными глазами, сидел в сторонке с загипсованной ногой и грустно смотрел на веселящихся. Стало его жалко. Подсела, улыбнулась, попыталась заговорить, и мы как-то поняли друг друга. А когда через пару дней гипс с его ноги сняли, то жалость моя к Комбо растворилась, но острее вспыхнуло любопытство: а как живут негры там, в Кении? И он рассказывал, – больше жестами, мимикой, – но я понимала и учила его русскому:

– Комбо, вот это – ля-гуш-ка, – показывала наше земноводное, когда стояли на берегу речушки.

И он смешно повторял:

– Лья гушь-кья.

Добрый, ласковый Комбо... Рассказывал, что у него есть брат-фермер, и что на его кукурузные поля часто нападают обезьяны, которых приходится отлавливать, набрасывая сети. Ну, я и сказала... опять же больше мимикой, интонацией: жалко, мол, бедных обезьянок, они же есть хотят, на что он замахал руками: их же очень много!

...По приезду из Аникова в первый же день приходил к нам Лёвка. Оказывается, он стал выпивать. То-то жаловался мне: «Понимаешь, у меня душа распадается. Надоело врать!

²⁹ КГБ – Комитет Государственной безопасности.

А выпьешь, вроде бы сразу и свободным станешь». Что я могла ответить? Ты, мол, такой не один?

...Ездили с Раисой в Карачев. Мороз был!.. а у меня теплой обуви нет, только туфельки, так что сидела у железной печки, отогревала замерзшие ноги и ревела от боли. Потом распили с Раей и Виктором бутылку вина и так-то хорошо стало!

На другой день, когда Раиса уехала, я спросила маму:

– Ну, как тебе моя подруга?

И она ответила:

– Да какая-то она двурюшная... всеодно, как бутылка из зелёного стекла. Никак не рассмотришь, что в неё налили?

И мама права. Живу с ней почти год, а понять не могу.

...Получила письмо от Комбо:

«Моя душа Галичика! Я не думал, что молчание будет и если ты будешь забывать меня так быстро... Я не знаю, что могу делать, потому что не могу забыть тебя. Сейчас будет месяца когда я послал письмо, но ты не хочешь ответить. Пачиму?»

Дала прочитать Раисе, а она расхохоталась:

– Ну, и что ты ответишь этому «пачиму»?

– Ну, что-нибудь отвечу...

Странная, конечно, Раиса. Похоже, глядит на всё со своей надуманной высоты, и никто ей не нужен.

...Снимали с ней сюжет для «Новостей» в Обкоме комсомола, и она пошутила:

– Влюби-ка в себя Хрыськова! – И как всегда громко рассмеялась: – Он же тает от тебя, вот и попробуй.

А Хрыськов – второй секретарь Обкома, «растущий товарищ», о котором говорят, что возьмут в Москву.

– Так он же карьерист! – чуть не вскрикнула, но, заметив её удивленный взгляд, смягчила своё отторжение: – Да и некрасивый. Толстенький, рыжеватый, с маленькими глазками. И фамилия ему подходит... Хрыськов.

– А что тебе от его глазок? Зато всеми благами будешь пользоваться.

Нет, не сошлись мы с ней во взглядах ни на Хрыськова, ни на «блага». И, думаю, не сойдемся.

...И всё же пользуюсь «благами», – Раисе дали комнату, и она взяла меня к себе. Правда, комната эта с общей кухней, на которой хлопочут еще две хозяйки, но мы обеда не готовим и поэтому соседки нам почти не мешают. А если бы ещё каждый день с шести утра какой-то мужик, собираясь на работу, не гремел над нами сапогами, то было бы вообще здорово.

...Ездили с Раисой на две недели в Сочи. Загорали, купались в море, бродили по городу с Сашкой, Володей и Николая, – познакомилась с ними в первый же день. Из всех троих Николая, конечно, лучший, – блондин с голубыми глазами, с правильными чертами лица, – но вот ростом не вышел. А мне нравятся высокие, а мне нравятся стройные!.. Но всё ж подолгу гуляла с ним по набережной. И пахло виноградом, персиками. И шуршало галькой море, которое было в двух шагах... Но самой удивительной была поездка на озеро Рица. Да нет, озеро оказалось, как и озеро, а вот дорога туда!.. Скалы нависали над автобусом, а под нами то слева, то справа вдруг открывались ущелья, затянутые голубоватой дымкой! И захватывало дух. И кружилась голова.

...Раиса стала членом КПСС³⁰. А ведь как-то рассказала анекдот: приходит мужик домой и жалуется жене: «Не везёт мне два дня подряд! Вчера в коровью лепешку вступил, сегодня – в Партию». Спросила её:

³⁰ КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза.

– И зачем тебе это?

– А для того, чтобы пускали за границу.

И как всегда, громко рассмеялась.

– Смотри, Раиса, а то станешь «верным ленинцем» и...

– Да нет, – перебила уже без смеха: – Такого со мной не случится.

Посмотрим.

...И всё же Лёвка предложил Раисе руку и сердце. Просила совета, что, мол, делать? А я сказала:

– Конечно, Лёвка умный, обаятельный парень, но такие, как он, больше ищут поддержки в любимых, чем – сами...

Нет, она сама ищет опору, ведь впереди у неё – Москва, а столица требует «крепких рук и надежных сердец», как сказал какой-то из её любимых журналистов, так что сбудутся, наверное, мои предположения: ничего у них не получится.

...Она пришла, присела на свою кровать:

– Обсуждали сегодня Лёвку на Комитете.

– За что? – встрепелась.

– А-а, – махнула рукой – зачем-то в своём репортаже сказал, что не дают квартир молодым архитекторам, которые приехали к нам работать.

– Но ведь так и есть...

– Ну да, так и есть... – хохотнула: – Но зачем об этом объявлять на всю область?

Я только руками развела:

– И ты об этом сказала на Комитете?

Нет, на Комитете она не сказала, а вот Лёвке – да.

– И что ж он?

– А, ничего, – махнула рукой: – Только взглянул на меня и ухмыльнулся.

Вот и думаю: ну, разве смогут эти, такие разные миры, стать одним?

...Лёвка попал в психлечебницу, – «белая горячка». Когда за ним приехала «скорая», то всё кричал, чтобы отогнали меня. Почему меня?

P. S.

Вскоре Раиса уехала в Москву. И увиделись мы с ней только через пять лет.

К тому времени она успела поработать в Мали, в Бельгии и на заработанные деньги купила квартиру, в которой и жила с матерью. Помню, спросила её:

– А твоя тётя где? Ну та, о которой ты говорила, что растила тебя?

На что ответила:

– Да мы её оставили там, в поселке, – взглянула непонятно: – Когда она узнала, что мы уезжаем с мамой в Москву, даже отравиться уксусом хотела, но её спасли.

– И как же она теперь там одна... без помощи?

– Да ничего, – и опять взгляд с холодной искоркой: – ей там соседи помогают.

Я молча глядела на неё, а она, словно оправдываясь, добавила:

– Ну, не могла же я взять её сюда? У нас не трехкомнатная квартира.

Потом водила меня Раиса в гараж показывать свою «Волгу», хотя даже и не училась вождению.

– Так зачем она тебе? – любопытствовала.

– А так... Была возможность купить, так чего ж отказываться?

И, как и всегда, громко рассмеялась.

А в последнюю нашу встречу, когда я ездила в Москву на курсы повышения квалификации, она пригласила меня во МХАТ³¹ на спектакль, который был тогда в Москве моден, а он

³¹ МХАТ – Московский Художественный театр, основанный в 1898 году Константином Сергеевичем Станиславским

мне не понравился. Долго с ней спорили, горячились, а потом она спросила о Лёвке, и я рассказала, что он спился. И спился, на мой взгляд, из-за того, что не смог больше врать, что его уволили, хотя несколько раз и прощали запои, что живет теперь с матерью в районном городке, в ветхой избушке, ходит с ней по улицам и собирает бутылки. И что ж Раиса?

– А зачем ему было врать? – взглянула удивленно: – Пусть бы писал правду.

– Раиса, ты что? – обалдела: – Разве в нашей стране дозволено писать правду... да и говорить?

– Дозволено, – ответила с вызовом: – Я же говорю студентам правду!

И опять мы заспорили, – она защищала нашу «руководящую и направляющую», а я... Да, значит, надо было и ей поверить тем, кто её купил.

А Лёвка... Как-то рассказали, что снова объявился в Брянске, – на кладбище рыл могилы, – и больше я ничего о нём не слышала».

Прошли годы. Я стала главным режиссером. Командировки, съемки, монтаж сюжетов, фильмов, работа с самостоятельными коллективами, показ театральных спектаклей – всё это было сложно и зачастую крайне утомительно, но мне нравилось, вот только... Если бы могла не замечать лжи, которой были пронизаны передачи, не ощущала удушающего идеологического давления «руководящей и направляющей»!

1962

«Приехал из села редактор новостей и рассказал: на майские праздники вся деревня пила-гуляла, а на ферме коровы от голода так ревели, что даже баяны заглушали. Ну, я и сказала: вот и напишите об этом. Но он рукой махнул: «А, все равно главный не пропустит.

...Наш начальник Туляков возвратился из Москвы и на летучке рассказывает о театре на Таганке:

– В холле висят портреты актеров в негативе, – и его большая губа пренебрежительно отвисает: – И даже под лестницей фотографии развешены, – держит паузу, обводя нас бесцветными глазами: – Потолок чёрный, актеры во время спектакля всё стоят на сцене за какой-то перегородкой, высовывая только головы: – И губа его отвисает ещё ниже: – Правда, в конце всё же пробегают по сцене, – снова медлит, ожидая реакции: – А фильмы американские... сплошной половой акт!

Обводит нас тяжелым взглядом, горестно вздыхает, а я сижу и думаю: ну разве такой руководитель может потребовать от журналистов что то умное, интересное?

...Меня, как главного режиссера, прикрепили к обкомовской поликлинике.

Ходила туда. Коридоры пусты (а в наших-то, народных – очереди!); вдоль стен – диваны, как подушки (нам бы в квартиру хотя бы один!); врачи принимают каждого чуть не по часу (а нас, плебеев, выпроваживают минут через десять!); в холл вносят импортные кресла (таких и не видела!), а напротив сидят два холеных представителя «великой и созидающей» и громко, с удовольствием рассказывают о своих болезнях. Противно. Больше не пойду.

...Сегодня, после летучки, разбирали с моим начальником Анатолием Васильевичем докладные на телеоператоров, – были не трезвы во время передачи, – а потом пронесся слух по коридору: «Привезли джинсы и кроличьи шапки»! Иду... Растрёпанная от возбуждения поэтесса и журналистка Марина Юницкая лезет без очереди; корреспондент Лушкина с кем-то сцепилась и кричит громко, злобно; киномеханик Леша протискивается к прилавку, не обращая внимания на ругань коллег, хватает аж трое брюк, две шапки и радостный устремляется по коридору... Боже, за что нас так унизили?!

Выхожу на улицу. Морозец, снежок только что выпавший, не истоптанный... Раствориться бы во всем этом! Моя улыбка – солнцу, снегу, бодрящему ветерку!.. Но надо идти на репетицию. Гашу улыбку, – пробуждаясь от снежного сна».

Моя семейная жизнь. Как оценить её, какой «балл» поставить? И стоит ли? Значит, буду писать о ней то, что было, а не то, что могло быть. А было разное, – и тепло общих для нас с мужем восприятий, и разлады, радости...

Всё было.

В автобиографической повести «Игры с минувшим» о муже есть такие строчки:

«Встретились мы с Борисом, когда его взяли в Комитет редактором отдела и мне, как режиссеру, предстояло с ним работать. Приехал он в наш город из Чернигова и уже успел там поработать автоматчиком музыкально-мебельной фабрики (после окончания техникума), в редакции комсомольской газеты «Заря коммунизма», обзавестись семьёй и двумя детьми, на год съездить в Казахстан в поисках лучших заработков, потом переехать с семьёй в наш город, чтобы работать журналистом в газете «Комсомолец», в многотиражке Автозавода и, наконец, устроиться к нам в Комитет. Его восприятие жизни было мне близко и, хотя я знала, что он уже несколько месяцев не живёт с женой, не думалось, что наши симпатии друг к другу могут перейти в нечто иное но...

Тогда начинался апрель, уже зеленели березы и трава была – хоть коси. Делая одну из передач, я, оператор и он приехали в лес на стоянку геологов, где те искали минеральный источник, мы с ним поднялись на невысокую буровую вышку и там, над верхушками елей, он впервые сжал мою руку.

Летом бродили мы в лугах, что рядом с телецентром, целовались под стогами сена, а жаркой июльской порой уехали к озеру, жили там несколько дней в рыбацкой гостинице, плавали на лодке, купались, провожали алые закаты, встречали розовые рассветы, а когда в оранжевом сентябре я поняла, что беременна, то у меня вместе с токсикозом началась депрессия, – то ли было это физиологическое явление, то ли не знала, что делать дальше? А Борис развёлся с женой, приехал со своим другом Николаем Иванцовым в черной «Волге», отвёз меня в небольшой районный городок, нас зарегистрировали, а когда возвратились домой (тогда я жила в новой квартире брата), открыл он бутылку «Шампанского» и... И пробка щёлкнула меня по голове. Подумалось: «Что за предвестие?»

Любила ли я Бориса? Конечно. Правда совсем не той романтической любовью, которая была к Юрке, Стасу и с годами любовь моя... В молодые-то годы как мечтается? Стоит только её, долгожданную, найти, и поселится в душе навсегда. Но, увы. Оказалась, что прав Владимир Маяковский³²: «Лодка любви разбилась о быт». Вот и наша разбивалась, – и не однажды! – давая течь, и надо было заново её латать и латать. Впрочем, любовь всегда была для меня каким-то душевным надрывом... А, может, другой не бывает?

³² Владимир Маяковский (1893—1930) – русский и советский поэт.



Борис Платонович. 1937—2017.

Из записок. 1982.

«Вернули Борису из Москвы его роман «Ожидание настоящего».

– Все понял, паразит! – сказал огорчённо о редакторе.

Читаю заключение: «Какие бы благие цели ни преследовал автор, но он возвел хулу на нашего современного рабочего, показал его духовное убожество (сам такой!), неспособность жить высокими духовными идеалами (будто бы знает, что это такое!). Когда мы оцениваем произведение о современном рабочем классе, то руководствуемся партийными принципами (вот-вот!), учитывая достижения и разоблачая недостатки (на своих дебильных партийных собраниях). Автор же показывает жизнь завода с позиций, далеких от партийных принципов. Печатать нельзя!»

Да, Борис был далёк от «партийных принципов», о которых писал рецензент, поэтому не срабатывался в газетах и часто оставался «свободным художником», подрабатывая в случайных местах, – даже в конторе по прокату фильмов, – и конечно, частая его неустроенность отражалась не только на материальном положении семьи, но и на его душевном состоянии, наших отношениях.

«Поблагодарили» Бориса и из Москвы, из газеты «Советская Россия», журнала «Журналист», – отсылал туда статью о кооператорах.

– Старик, как же я устала от этих благодарностей! – не сдержалась.

– А я?.. – жалко улыбнулся и ушёл к себе.

Приготовила обед и решаюсь всё же всколыхнуть отвергнутого журналиста. Вхожу в его комнату, сажусь рядом:

– Что это Вы, Борис Платоныч, всё читаете, читаете... а не пишете?

Знаю: вызываю огонь на себя!

– Думаешь, писать... это всё равно что вязать? – А у меня, между прочим, сегодня отгул. А я, между прочим, пригласила его сходить в лес за грибами и вроде бы соглашался... хотя была бы рада, если б сел писать, и вот: – Лучше бы пуговицы к рубашке пришила, чем лезть в то, чего не понимаешь!

Сжимаюсь: «Ну что, получила?» Но такого массированного огня не ожидала и поэтому сразу – слезы. Шмыгнула в ванную, закрылась. «Нет, не рассчитала сил!»

Но подошел к двери:

– Открой. Поговорим.

«Не хочу открывать! Не хочу говорить! И даже видеть его не хочу!» Но через дверь гундосю:

– Не благороден. Больно ранишь.

А он:

– Может, потому заставляешь писать, чтоб денег больше приносил?

«Опять оскорбляет!»

– Как же ты со мной живешь, если так думаешь? – уже рыдаю.

Но слышу: собирается уходить.

«Нет, не выйду, не пожелаю ему счастливого пути!.. отсижусь на краю ванной».

У-ушел. «Ну и, слава Богу». Иду в зал, ложусь на диван: «А, может, он, отвергнутый обществом, так защищает себя? А, может, отвергнутый, так себя утверждает? Ладно. На том и порешу». И утром просыпаюсь с настроением: «Всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо!, как когда пелось в популярной песенке, и ты сегодня весь день будешь счастлива, ведь дети живы, здоровы, мама, Виктор – тоже, денег с натяжкой, но хватает... Ну, что еще тебе нужно? „Так не надо печалиться...“ как поётся в другой популярной песенке».

Но с середины восьмидесятых годов в стране стали происходить перемены³³, которые затронули и положение мужа.

1987—93.

«Теперь Борис член СОИ – совета общественных инициатив города. Собираются они в выставочном зале и разговоры ведут об экологии, – о другом не позволяют соглядатаи нашей «руководящей и направляющей», – но под праздник революции семнадцатого года обсуждали: с какими лозунгами идти на демонстрацию? И решили: «За чистый воздух и чистую совесть!», «Нет строительству фосфористого завода», «Отстоим здоровье наших детей!».

...Седьмого было холодно, по тротуару выюжил снежок, и я с детьми на площадь не пошли, а Борис ходил и рассказывал:

– Вначале нас было немного, но по дороге присоединялись люди, – и светился от радости: – Ведь наши лозунги на фоне привычных выполним!.. перевыполним!.. достойно встретим!.. сразу бросались в глаза. Да еще впереди шла девочка с куклой в противогазе, так что смотрели на нас, разинув рты, и когда подходили к трибунам, в колонне было уже человек семьсот, – радостно улыбается: – Потом, когда прошли по площади и вышли к дамбе, то подошел какой-то мужик и сказал: «Молодцы! Молодцы, что не побоялись»! Теперь в городе разговоров о колонне «зелёных»!

А в коммунистическом «Рабочем» большинство сотрудников осуждают Бориса, и секретарь райкома партии Дордиева кому-то бросила:

– Надеюсь, вы не запачкались участием в колонне «зеленых»?

Вот так... Даже «зеленым» нельзя быть в нашем соцлагере... красном от крови.

...Ходил мой воитель в воскресенье на митинг партийцев, – решили те «сомкнуть ряды и сплоченной колонной ударить» по хлипким демократам.

– Ну и как? – спросила.

³³ «Перестройка» – общее название, используемое для обозначения кардинальных перемен в экономической и политической структуре СССР с середины 80-х годов.

– Около двух тысяч собралось. Орали, доказывали своё, нападали на нас! Мы же лозунги свои принесли, так некоторые партийные бабы бросались на них, чтобы вырвать, – засмеялся: – Хотел и я выступить, чтобы перевоспитать их немного, но куда там! Слова не дали сказать, как, впрочем, и другим СОИвцам.

...Был у нас в гостях Валерий Степанович Артюхов, главный редактор «Новых известий», созданных как альтернатива партийному «Рабочему». В «застойные времена» работал он в Обкоме партии и словно хвалился: «Грызся я со всеми первыми секретарями! И с Построченковым, и с Сизенковым, и с Погожиным». Наверное, так и было, ибо публикации свои против коммунистов пишет «со знанием материала» и в статье «Наш пострел везде поспел» разбирает парт аппарат по косточкам зло и ехидно. За бутылкой водки мечтали с Борисом о том, какой станет их газета, какие книги при ней будут издавать, а потом он пел под гитару. Голос у Валерия Степановича хороший, но до чего громкий!»

Тогда я радовалась: ну, наконец-то мой муж получил возможность писать то, что думает, – Ведь Перестройка, гласность! – да и работу постоянную обрёл. Но уже примерно через год стал бросать недовольные реплики в адрес главного редактора, сотрудников, и в общем-то был прав: Артюхов, сломленный в годы социализма идеологией партии и привыкший к подчинению, так и не смог, да и не хотел делать каких-то решительных шагов, чтобы делать газету «Новые известия» самостоятельным печатным органом, сотрудники – тоже, и постепенно газете превращалась в серую, лишённую каких-либо аналитических статей газетёнку, а со временем перешла в руки журналиста, который полностью подчинился губернатору-коммунисту Родкину, – в нашей области он ещё долго оставался у власти – и муж даже трижды судился с ним из-за своих статей.

«Борис снова вечером пришел домой хмурый и теперь молча ужинает. Сижу напротив и тоже молчу, – пусть сам расскажет.

– Сегодня Артюхов с Теребовым, – наконец слышу: – уехали куда-то пить, а меня не пригласили...

– Ну и чего ты переживаешь-то?

– Да я не переживаю, но все ж...

Замолкает, жует, опустив глаза. Становится его жалко. Чем утешить? Мягко, очень мягко говорю:

– Борис, ты не для таких компаний. Ты не светской болтовни человек. С тобой всегда напряженно, ответственно, – стараюсь польстить, и он вместе с яичницей пока проглатывает это. Тогда крадусь дальше: – Отдыхать с тобой в одной компании опасно, вот-вот переведешь всех на серьезные разговоры, поэтому люди и сторонятся тебя, – завариваю чай: – Я сама такая. Но разница между нами в том, что я – кошка, гуляющая сама по себе, а ты вечно стремишься сбить вокруг себя коллективчик, не веря, что это невозможно. Ну, нет таких людей, которых можно было бы объединить твоими моральными принципами, нет!

Выслушал молча... Но, когда начал рассказывать, что, мол, коммуняки совсем обнаглели и на сегодняшней встрече с депутатом-демократом Верховного Совета кричали: «Этот козел Ельцин³⁴!..», да и самого депутата оскорбляли, я подхватила:

– Ну, что оскорбляли, это еще не страшно. Вон, когда Прасолов собирал в Карачеве подписи за референдум о земле, то ему звонили домой и даже убить грозилась.

– Да брось ты! – прервал: – Это он все врёт.

³⁴ Борис Ельцин (1931—2007) – Первый Президент Российской Федерации, в ноябре 1991 – июне 1992 года одновременно возглавлял «правительство реформаторов

– Думаю, что не врёт, – терпеливо возразила: – Я еще с детских лет его знаю, очень прямой человек. Помню, все стихи свои Виктору носил...

– Все равно сомневаюсь, что говорил правду.

– Вот-вот, еще эти твои вечные сомнения... Жалуешься, что не берут в компании. А как тебя брать, если даже я!.. и то, разговаривая с тобой, вечно на стороже: поверишь или не поверишь? И уж если согласишься, то аж сердце от радости ёкнет. – Смотрит на меня, чуть улыбаясь: – Чего лыбишься? Да-да, именно так. А как ты думаешь, приятно беседовать с человеком, который сомневается в каждом твоём слове? Вот и твоим коллегам... – И говорю все это мягко, улыбаясь, наливая чай в кружки: – Ну, неужели так уж трудно хотя бы промолчать, если не веришь? Нет, тебе обязательно надо опровергнуть!

– Да, все так, – кивает головой, но тут же цитирует: – «Платон мне друг, а истина – дороже³⁵».

– Ну, раз истина тебе дороже, то и оставайся с ней. – Что ответит? Нет, пока молчит. Тогда продолжаю: – Но учти, не зря люди создают мифы, легенды. Значит, нужно это человеку... значит, живет потребность в неправде, и чтобы в неё верили.

Замолкая, искоса наблюдаю за ним: не взорвется ли? Нет, слушает спокойно. И тогда делаю последний аккорд:

– А ты еще и пропорцию не соблюдаешь. Конечно, что-то, надо опровергать, а что-то и нет. Ну, отстаивай правду, где это необходимо, а в мелочах...

Нет, как раз в этом не соглашается и уходит смотреть «Вести», а я, домывая посуду, закругляю свои соображения: «Истина ему, видите ли, дороже. Смотря, какая истина! – Раскладываю на поддоне вилки, ложки. – Вон, для Павлика Морозова³⁶ истиной было строить колхозы, поэтому и на отца донес. – Вытираю руки, снимаю фартук. – Нет, уж лучше наоборот: истина – истиной, но отец мне дороже... но друг мне дороже, – человек».

В последующие годы стремление Бориса говорить всем только правду привело его к полному одиночеству. Моё же отношение к нему было каждодневной работой души, когда надо было во время «подставлять плечо», сносить постоянную нехватку денег и порою это становилось настолько тягостным, что я теряла ощущение радости. Но пока он писал рассказы, повести, последний роман «Недостойный», изданный за счёт спонсоров в 2004 году и работал в газете, у нас оставалась много общего, было о чём поговорить, поспорить, но дети выросли, создали свои семьи, а Борис, так и не поладив с редактором «Новых известий» и коммунистом-губернатором, в шестьдесят три года ушел из газеты и стал пенсионером, с усердием работая на даче.

ЧАСТЬ 2

С конца девяностых по рассказам мамы я написала повесть о её жизни «Ведьма из Карачева», а из дневниковых записок – «В Перестройке. 1987—2000» и «Игры с минувшим»; сложились и две повести, – «Искусы Эроса», в которой использовала свои записки и «Я звала его Лисом» (об отношениях с журналистом, с которым пришлось работать). Попутно писала зарисовки, миниатюры, стихи, рассказы и всё это сплеталось из когда-то прожитого, прочувствованного, – из того, что – в «Узорах моей жизни».

Один из рассказов.

³⁵ Перефраз слов реформатора Мартина Лютера (1483—1546): «Платон мне друг, Сократ мне друг, но истину следует предпочесть».

³⁶ Павлик Морозов – человек, имя которого со временем стало нарицательным, пройдя путь от пионера-героя, отдавшего жизнь в классовой борьбе, до предателя, «заложившего» отца.

Живые ниточки

Бедненький, так уж никому ты и не нужен? Такой милый, а выдворили. Что, так и будешь теперь ютиться в подъезде?.. Это я говорю мягкой игрушке, маленькому серому... или белому коту в красной шляпке и голубых шортиках. Уже с неделю сиротливо сидит он на подоконнике под таким же выселенным фикусом и каждый раз, когда начинаю подниматься на свой пятый, провожает меня грустным взглядом синих глаз, а я невольно опускаю свои карие, слегка сжимая плечи, спеша прошмыгнуть мимо. И потому, что он... нет, не он, а взгляд его похож на чей-то! Но никак не могла вспомнить «чей», а вот сегодня, когда опять проходила мимо, то мой биологический Яндекс вдруг выбросил ответ: у неё был такой, у неё!.. у Ланы со странной фамилией Ленок. Ну что ж, спасибо тебе, выселенный и никому не нужный серый... или белый котик, давай я за это усыновлю тебя. Пошли...

Ну вот, выкупанный и повеселевший сидишь теперь напротив меня и, может быть, сможешь вспомнить Лану, раз так настырно подшептывал о ней... Ну да, тогда она, мой новый ассистент, появилась у нас незаметно, – главный редактор не представил её на летучке, – и она, сидя в уголке холла, лишь иногда поднимала глаза и пристально всматривалась в кого-либо, я сразу заметила в ней это, да и потом не раз улавливала её потаённое вглядывание, вживание в тех, кто был рядом, и даже в вещи, предметы... Да понимаешь, серый... нет, теперь уже белый после купанья-то, довольно скоро я поняла: не быть ей ассистентом режиссера с этой своей особенностью, – ассистент во время прямого эфира должен быть бойким и «стойким оловянным солдатиком», схватывающим на лету и исполняющим сказанное, а она... Ну как она могла тут же «воплощать замыслы» режиссера, если вдруг пленялась чем-то и зависала над ним?.. Например? А вот тебе пример. Когда во время прямого эфира по тихой связи послала ей очередную команду, то она не всегда и слышала её и я через смотровое стекло видела: уставилась на заикающегося выступающего и даже пытается подсказать ему что-то. Ну, а если наезжала самодеятельность для записи концерта, то Лане и вовсе становилась не до режиссера, – до конца выслушивала всех, кто подходил к ней, а если еще и с воздыханиями!.. Ну конечно, непременно надо было ей утешить жалобщика и тогда, стоя напротив того с лёгким дрожанием рук и готовая вот-вот расплакаться вместе с ним, уже не слышала ни просьб, ни команд... Ты только подумай, мой освежённый белый кот, ну как было прервать такую душевную беседу? Вот и приходилось взваливать всё на другого ассистента, а тот потом тоже жаловался... но уже начальству. Ну, а внешность Ланы Ленок... Да в общем-то – ничего особенного, не сказать, что красива, да и некрасивой не назовёшь. Нет, плоть её не кричала о себе. Высокая, худенькая и одежда как бы соскальзывало с неё, не задерживаясь ни на груди, ни на бёдрах и лишь книзу открывая довольно стройные ножки. А, впрочем, зачем я – о внешности? Я же – о другом хочу... Так вот, мой безмолвный кис, помню еще и такое: она сидит и что-то вяжет в ожидании эфира. Подхожу, сажусь рядом:

– И что мы вяжем? – улыбаюсь.

– Свитер, – отвечает сразу, словно ждала моего вопроса.

– И кого ж потом одаришь таким красивым свитером?

Нет, только улыбнулась, хочет набрать очередную петельку и тут слышу тихое:

– Глупая, непослушная, никудышная... – Кому это она? Никого рядом нет, а она опять: –

Ну что ты вытворяешь?

Ой, да это она – петельке! Ну и ну...

– Лана, ты с каждой... так? – снова улыбнулась.

– Нет, не с каждой, – хмыкнула. – Хочу вытяну её вот так... – и петля выросла на моих глазах, – а нитка по-своему хочет... мстит за что-то.

– Мстит? – уточняю.

– Ну да, ведь ниточки тоже живые, вот и...

Ла-аночка, детка, как тебе жить-то, если еще и ниточки... Но говорю:

– Да, конечно. Может, и в твоей черной нитке есть нечто, похожее на чёрную... ой, прости, на белую душу.

Да нет, мой пушистый, и не думала над ней подшучивать! С такими, предмето-ощущающими, шутки плохи, с ними надо бережно, как с тонким стеклянным сосудом, иначе и его разобьёшь, и сам руку... душу порежешь.

Что еще помню? А, пожалуй, вот... Надо было как-то закупить несколько вазочек для цветов... перед выступающими на столы ставить. Послала её, и что-то долго не возвращалась, а когда наконец-то!.. то я лишь руками развела, а она бережно взяла один из купленных сосудов и с блеском в глазах почти запела:

– Это я из-за неё... из-за этой прелестной и единственной, чуть не опоздала. – Я удивлённо взглянула, а она поспешила пролить свет: – Понимаете, все вазочки были одинаковые и я не сразу могла выбрать вот такую, с пупочкой.

– Лана, ну какая еще пупочка?

– А вот такая... Видите? – И, проведя пальчиком по тёмному ободку, погладила на светлом поле вазочки капельку стёкшей краски. – Правда, как пупочек?

Котик мой приёмный, ну что было ответить?.. Вот и я – ничего... правда, тоже погладила капельку-пупочку, потом налила воды в «единственную», опустила в неё веточку гвоздики и сказала:

– Пожалуй, так еще красивей будет... да еще с пупочком!

Но нет, хватит прорисовывать образ Ланы, – для карандашного, а, вернее, для словесного наброска и этого достаточно, – хочу теперь вот о чём... а, вернее, о ком.

Появился у нас вскоре и новый помощник режиссера, Серёжа Филатов и, кстати, в том самом свитере, который вязала тогда Лана. Да-да, значит, связывала их живая ниточка, да они и сами были похожи... нет, не внешне, а по мироощущениям. И о Серёжке помню больше, чем о Лане потому, что был он ну очень интересный паренёк: лицо почти всегда напряженное, взгляд беспокойный, а порой лихорадочный, и похож... похож был на красивого щенка-подростка. Когда представили его на летучке, то как-то сразу подумалось: ну вот, подходящая пара для Ланы... и еще одна моя головная боль. В чём вскоре и убедилась... А вот так. В студии – репетиция с танцевальным ансамблем, я – за пультом, Сережа – в наушниках у пюпитра, и вдруг по тихой связи слышу:

– Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа...

– Сережа, при чём тут Есенин*... под эту залихватскую музыку? – Взглянул в мою сторону, но продолжил: – Со снопом волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда.

Спустилась к нему в студию, а он:

– А чего ж они с ерундой приехали! – И подошел к танцмейстеру: – Что же вы такую чепуху показываете?

Тот, конечно, набычился и даже покраснел:

– Молодой человек, нехорошо так...

А Сережа, несколько не смутившись:

– Почему ж нехорошо? А если я так думаю.

Вот таким курьёзным парнем оказался мой новый помощник... А что потом... Потом нагрянули вот такие события: приехала я на работу, иду по двору телецентра, а он орёт, как оглашенный!.. Да не Сережа, а котёнок, вроде тебя. И орёт, паршивец, словно его четвертуют! И кто его только подкинул к нам во двор?.. или перебросил через забор белокаменный? Длинноногий, лохматый, тощий. Взяла, принесла в кабинет, отдала ему колбасу со своего бутерброда, он её тут же слопал, а потом свернулся калачиком под батареей и сладко задремал. Но вошёл директор телецентра и сразу ошетинился: откуда, мол, животное?.. чей, мол, зверь?.. да разве не знаете, что на телецентре не должно быть животных, а то залезут в аппаратуру и замыкание произойдёт! Что было делать? Успокоила его: не успеет, мол, эта зверушка

замкнуть вашу аппаратуру, унесу с собой... хотя дома уже и жил такой же, с троллейбусной остановки подобранный. Но тут вошла Лана:

– Ой, какой хорошенький! Ой, какая прелесть! – залепетала, позабыв о фотографиях, которые надо было вставить в паспорт.

– Ланочка, ну и возьми его себе, а то директор...

– А что, можно? – вспыхнула румянцем.

– Ну, конечно, – обрадовалась я и даже на радостях взялась советовать: – А назови его Васей.

– А Вася у меня уже есть, – всё так же мурлыкала моя ассистентка.

– Ну, тогда Васядва...

– И Васядва есть, и Васятри, – рассмеялась.

– Ланочка, радость моя, и сколько ж на сей день у тебя Васей?

– Восемь, – вроде бы чуть смутилась, приглушив своё мурлыканье.

– Ну что ж... – рассудила я трезво: – В такой многолюд... многокошачьей компании одним Васей меньше, одним больше...

И после передачи сунула Лана мою длинноногую находку за пазуху и увезла домой.

Все ли события? О, нет, мой бело-пушистый, то были лишь цветочки, а ягодки показались... точно и не помню, но, кажется через неделю. Приближался Первомай* и, как всегда, на наших студийных мониторах замелькали упитанные, розовошекие партийные товарищи с вдохновляющими речами, обращенными к труженикам сёл, городов, предприятий с призывными речами к новым трудовым победам. Попался и мне такой «товарищ» – первый секретарь Обкома комсомола. Ну, выдала его пламенную речь прямым эфиром, спускаюсь с пульта и вижу: перед только что выступившим стоит взволнованный Сережа и что-то горячо говорит, а у того глаза!.. словно привидение увидел. Но к собеседникам уже спешит мой начальник, берёт секретаря под ручку и тихо, но настойчиво уводит.

– Сереженька, – подхожу к своему распалённому помощнику, – ты что?.. и ему читал Сергея Есенина?

Но оказалось, что подошёл Серёжа к главному комсомольцу области и сказал: «Что же вы врете! Только что сказали людям, что поголовье скота в колхозах растёт и увеличивается, а на самом деле коровы, телята, барашки и лошади там от голода умирают». А об этой многолетней и горестной пагубе рассказал недавно вернувшийся из командировки редактор наших «Новостей», но мы то уже привыкли к таким реалиям, а Сережа... Он же так любил лошадей! Вот и решил по случаю – главному, о том, что те, мол, умирают... А что потом... Я-то думала, что мой начальник, который и сам сомневался в «достижениях и очередных победах партии» пожурит Сережу, – ну, что ж ты, мол... не надо бы, мол... знай, с кем можно, а с кем... – да и всё. Ан, нет. Когда я вышла после недельного бюллетеня, то Сережи больше не увидела. Уволили. Из самого Обкома партии позвонили и приструнили начальника: в идеологической организации!.. и держите таких?.. Не встретила и Ланы, ибо подала та заявление «по собственному желанию» и его... ну, конечно же!.. тут же подмахнули, – уж очень часто жаловались мои коллеги на рассеянность Ланы Ленок, которая теперь и потянулась за связанным с ней «живою ниточкой» Сережей. Ну что, молчальник, не устал от моих реминисценций?.. Нет, конечно, ведь ты же... А, впрочем, вот ведь как интересно получается: хоть ты и не живой, а чувствования и ощущения всколыхнул что ни-на-есть самые живые.

Живые ощущения, живые чувства... Как-то встретила коллегу, а он и рассказал: к тому времени колония спасённых Ланой кошек выросла аж до семнадцати, а жила она с матерью в однокомнатной квартире, и можешь себе представить, что в ней творилось?.. Ну, конечно, ты не можешь, а вот я... Вначале мать почти безропотно сносила сердобольные увлечения любимой и единственной доченьки, варила лохматым пшеничную кашу с килькой, но, когда нагрязнула её сестра!.. Только на один день Лана уехала в командировку, но тётке и его хватило, чтобы

позвонить куда надо. И приехали откуда надо. И отловили всех постояльцев, и увезли куда-то, а когда Лана возвратилась... Несколько дней разыскивала своих подопечных, а потом слегла с высокой температурой и умерла... Нет, не знал коллега, да и я не знаю: только ли исчезнувшие кошки были тому причиной? Но одно я постигла, дружок, вглядываясь в свои жизненные наблюдения: таких человечков с оголёнными, незащищенными душами, в «коллективах» почему-то зачастую пощипывают и понемножку, и очень... Помню, приехала я раз на сессию в Ленинград, группу поселили в школьном классе, а в ней и оказалась такая же Лана. Вот и стали её пощипывать, хотя и бегала за молоком, батонами для всех, и каждый день подметала пол. Пришлось взять под крылышко... Да нет, не столь это обременительно, но как тебе сказать? Такие прирастают, не отходят и подчас становится с ними томительно, а еще, видя их вот такую расслабленность на грани протрации, порою и самой хочется... О нет, самой не пришлось, такая роскошь не для меня. Ну, как могла позволить себе быть слабой, когда каждый день – моя любимая, но сумасшедшая работа, рядом – дети, муж, в очередной раз томящийся без работы из-за вечных конфликтов с партийными «товарищами», да еще так называемая дача с подрастающими овощами, а в сорока километрах – старенькая мама с братом, и надо ездить к ним на выходные, помогать. Вот и приходилось быть сильной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.